М. САДОВЯНУ

РАССКАЗЫ · МИТРЯ КОКОР ·

Л. РЕБРЯНУ

ВОССТАНИЕ



Митря Кокор
Михаил Садовяну

Аннотация
Михаил Садовяну. Митря Кокор
Глава первая. Как остался сиротой Митря Кокор из Малу Сурпат
Глава вторая. Здесь мы знакомимся с Гицэ-мельником
Глава третья. Мы знакомимся и с хозяином пустоши Дрофы — боярином Кристей Трехносым
Глава четвертая. Лишь на мгновение появляется Настасия
Глава пятая. Милосердие мельников, господ и жандармов
Глава шестая. Милосердие тех, кто живет в горестях
Глава седьмая. Дружба и любовь
Глава восьмая. Как у Митри чуть не появился учитель
Глава девятая. Военные бедствия весною любви
Глава десятая. Воинский эшелон все в пути и в пути...
Глава одиннадцатая. ...Пока однажды ночью Митря и Флоря не увидели молнии востока

Глава двенадцатая. Конец многих жизней и горестей
Глава тринадцатая. Митря смотрит, вникает и учится
Глава четырнадцатая. Митря страдает от нетерпения
Глава пятнадцатая. Мельник Гицэ нуждается в советах барина
Глава шестнадцатая. Настасия пускается в тайное путешествие
Глава семнадцатая. У кулака на мельнице мелются зерна, пересуды и напасти
Глава восемнадцатая. Котельный мастер Войку Чернец приезжает по делам в Малу Сурпат
Глава девятнадцатая. Рождение нового кандидата в граждане мира
Глава двадцатая. Письма и вести от милого
Глава двадцать первая. Товарищ Митря наводит порядок в Дрофах

Аннотация

Повесть "Митря Кокор" (1949) переведенная на десятки языков, принесла автору высокую награду — "Золотую медаль мира".

Иллюстрации П. Пинкисевича



Михаил Садовяну
Митря Кокор {1}

{1} Комментарии: 1

МИТРЯ КОКОР (MITREA COCOR)

Повесть впервые опубликована в 1949 г. В 1950 г. Всемирный Совет Мира наградил автора за эту повесть «Золотой медалью мира». На русском языке впервые опубликована в 1950 г.

Глава первая
Как остался сиротой Митря Кокор из Малу Сурпат

На краю пустоши над рекою Лисой поселились крестьяне, — давно это было, лет сто тому назад. Назвали они село «Малу Сурпат»{2}, потому что Лиса прорыла там обрывистое русло и в бурное половодье обваливала крестьянскую землю, подмывая берег, на котором стояло село.

А пустошь мужики назвали «Дрофы».

Они говорили:

— Там у барина самая лучшая пшеница растет.

Часто со стороны степи в вышине плыли по ветру стаи тех птиц, от которых и получила она свое название.

— Ну, какая это пустыня? Сколько сел можно бы понастроить, да старый Мавромати оставил сыновьям наказ — никому не позволять там селиться. Дрофы — это золотое дно, да все богатство гребут господа, а мы живет в тесноте, гнием в бедности.

{2} Комментарии: 2
Малу Сурпат — обвалившийся берег *(рум.)*.

Летом выезжали крестьяне в поля, перебираясь через Лису по шаткому мостику, висевшему между обрывистыми берегами. Приближаясь к Воловьему колодцу, уже можно было почувствовать запах спелой пшеницы, доносившийся из Дроф.

— Как хлебушка белого хочется, — скажет, бывало, кто-нибудь.

Остальные смеются. Однажды кто-то посулил:

— Подожди, запашем мы пустошь, когда наступит второе пришествие!

Слова эти, еще неясные ему, услышал Митря Кокор, когда было ему лишь одиннадцать лет от роду. Засмеялся и он.

А ты чего смеешься? — спросила мать, обминая поудобнее солому рядом с ним в телеге.

— Да просто так.

— Когда не понимаешь, нечего скалиться.

— А я понимаю.

Отец правил парой караковых лошадей. Он повернул голову и ухмыльнулся:

— Митря башковитый, надо его в ученье отдать.

— По зубам ему лучше дать, чтоб не встревал, когда старшие говорят. — И мать хлопнула сына по губам. Митря проглотил слезы и умолк.

— Больше ничего не скажешь?

Митря упрямо наклонил голову и отвел в сторону черные злые глаза.

Женщина снова ударила его.

— Что ты бьешь его, Агапия? — обернулся отец.

— А ты смотри, как он глядит на меня, — сущий разбойник.

— Агапия, оставь парнишку.

— Не оставлю! Ты, Иордан, не мешайся, я над ним хозяйка. Попробует еще разок так на меня смотреть — шкуру спущу. Такими глазами и ты поглядывал когда-то, да я тебя обломала. Обломаю и Митрю.

Мужики из Малу Сурпат, щедрые на всякие прозвища, Агапию Лунгу{3} звали Скурта{4}, потому что эта приземистая сварливая толстуха была Иордану только по плечо. А Иордана, из рода Лунгу, прозвали Кокор{5} за длинный с горбинкою нос и за то, что ходил Иордан ссутулившись. Был он человек добрый и тихий. Жена допекала его, помыкала им и в будни и в праздники. Даже

{3} Комментарии: 3
Лунгу — длинный *(рум.).*

{4} Комментарии: 4
Скурта — коротышка *(рум.).*

{5} Комментарии: 5
Кокор — журавль *(рум.).*

на стул взбиралась, чтобы поближе пялить на него глаза. Он давно смирился, но Митря, с виду вылитый отец, унаследовал норов матери. В примэрии его записали по отцовскому прозвищу, так что звался он не Митря Лунгу, а Митря Кокор. А еще унаследовал он от отца привычку мрачно молчать и поглядывать на всех искоса. Иордан любил его, но Агапия измывалась над Митрей. Она говаривала:

— Лучше бы мне его жеребенком родить, чтобы волки его загрызли.

«Агапия» по-гречески означает любовь. Но от ее материнской любви Митря порою готов был бежать куда глаза глядят, лишь бы домой никогда не возвращаться.

Агапия любила старшего сына. Он во всем походил на нее. Был низкоросл и толст — даже в солдаты его не взяли. Зато уж по части обмана и темных делишек — мастак хоть куда. Вступил он в товарищество с одним купцом, потом отделился от него и на том краю села, что подальше от Лисы, сам поставил мельницу с бензиновым двигателем. Этого низенького, жирного, пухлого мельника так и звали Гицэ Лунгу. Другого прозвища ему и не нужно было. Фамилия мельника звучала самою злою насмешкой над ним.

С пятнадцати лет, с тех пор как Агапия Скурту вышла замуж, у нее рождались и рождались дети. Каждые два года по ребенку. Но в живых остались только эти двое. Первенца Гицэ она кормила грудью три месяца. Хотя Агапия очень любила его, но после трех месяцев отняла от груди, и не будь мягкосердной свекрови Константии, которая пристроила его к козе, отправился бы и Гицэ туда, откуда не возвращаются. Поступила так Агапия не со зла, а потому, что была еще девчонкой. Бабки на селе жалели Агапию за то, что отец, дядюшка Маноле, выдал ее замуж слишком рано. Корчмарь Маноле нежданно потерял жену: ее раздавило бочкой, и тут наступила и для него пора, как он говорил, обзавестись другой женой. Вот он и взял вдову из Адынкаты, а Агапию уже не мог держать при себе. Иордан Лунгу тоже был еще мальчишкой, но родители его позарились на невестину землю. Сделку совершили на скорую руку, и Иордан оказался хозяином в доме своей жены, еще не отбыв солдатчины. Ему бы и забрили лоб в рекрутском присутствии, не выкупи его корчмарь. Но и дома оставаться было несладко — Агапия задавала ему такого перца, что так и першило у него в глотке.

Другие шестеро ребятишек, которых даровала

миру дочь Маноле, все перемерли, — кто от лихорадки, кто от чирьев, кто от родимчика, кто от макового отвара, — кому как «на роду было написано». Агапия вовсе не кормила их грудью. Старухи учили ее эти утраты не принимать близко к сердцу.

Восьмым был Митря. Этот выжил. Он одолел и пустышку с жеваным хлебом, и мак, и лихорадку, и ветрянку. Не ошпарился он, когда опрокинулась бадья с кипятком. Не сожрали его свиньи, когда наткнулись на него за хатой в корытце, где он шевелил, словно жучок, ножонками и ручонками и лопотал что-то по-своему. Не погиб он ни от варева из незрелых плодов, ни от конского навоза, что пихали ему в рот деревенские бабки, когда болел он коклюшем. Наперекор всему остался он в этом грешном мире.

Митря рос высоким, в отца. У него был ястребиный нос, глаза быстрые, черные, словно две ласточки. Отец любил его, узнавая в подростке самого себя. Агапия же не выносила мальчика. Стоило ему появиться, как она находила предлог, чтобы огреть его палкой. Митря скоро научился спасаться от матери. У него были длинные и быстрые ноги, и он удирал с дьявольским смехом, оборачивая к ней на бегу свою лохматую голову.

Мать всюду подстерегала его, в особенности когда он прокрадывался в сад позади дома, к поспевающим вишням и сливам.

— Скачи, скачи через заборы, цапля этакая! — кричала она ему. — Вот погоди, напорешься на кол.

Он скрывался в зарослях и пролезал сквозь дыры в заборе, она вслед ему прыгала через плетень и гналась за ним до самой улицы. Митря останавливался только на берегу реки и удивлялся, почему мать сама не боится наткнуться на кол, как сулит ему.

«Напорется когда-нибудь, — думал он, усмехаясь, — вот и избавлюсь от нее».

Когда, голодный, Митря возвращался вечером, Агапия палкой выбивала из него пыль и потом совала под нос плошку с едой. Напрасно мальчишка жаловался Иордану. Усталому человеку, только что пришедшему с поля, разморенному летним зноем, хотелось только одного — отдохнуть. Он молчал. А ребенок все думал, как бы украсть денег на коробок спичек и поджечь дом, когда мать будет сидеть одна за прялкой.

Тяжелее всего было зимою. В трубе завывала вьюга. Митря хныкал в темноте, лежа на обрывке циновки. Иногда поздно ночью, когда было со-

всем темно, кто-то накрывал его одеялом. Митря чувствовал это.

«Это, наверно, тятька, — думал он. — Нет, не тятька, тот ступал бы тяжелее».

— Может, это ангел приходил? — сказал он как-то вслух.

Мать подняла его на смех.

— Какой ангел придет к такому дьяволенку, как ты?

Однажды он попросил Иордана:

— Тятька, теперь зимой я все больше баклуши бью. Летом то гуси, то поросята, то козы, то в корчму беги, то к батюшке, то пригони корову с пастбища. А зимой дел меньше. Я бы, тятька, в школу пошел. Мне господин учитель говорит, я — как пшеница в бурьяне. А вот если буду учиться, то это словно пшеницу прополют. На святых апостолов мне ведь тринадцать сравняется.

— Слышь, как меньшой говорит! — удивился Иордан.

Агапия, подслушав все под дверью, налетела на них, меча глазами молнии.

— Слышала. А сам ты, Иордан, учился грамоте? А я? На что мне эта пакость? И Гицэ не давала ротозейничать! Есть у нас другие дела, и дом, слава богу, полная чаша. Пусть твой последыш

возьмется за ум, а коли нет, то как стукну его по башке — так и всажу ее аж до самого брюха. Коли думает, что зимой делать нечего, найду ему дело. Я ему покажу, — допросится плешивый ермолки с жемчугами.

А меньшой не осмелился слово вымолвить, хоть многое у него накипело. Ему так и хотелось крикнуть: «Не матка, а лихорадка!» — но он зажал себе рот ладонью. Она же долго смотрела на него и зло улыбалась, — верно, поняла его.

Прошло и это. Прошла зима, потом весенний разлив Лисы. Крестьяне выехали пахать. Митря взялся за ручку плуга и шагал, согнувшись, по борозде. Он гладил по голове уставших лошадей и разговаривал с ними. Позже с отцом и матерью ходил он окучивать кукурузу. Дома смотреть за хозяйством нанимали старуху.

Дул теплый ветерок, сияло солнце. Мать больше не задевала Митрю ни единым словом. Казалось, она не замечает его. Все это тоже прошло. На праздник Петра и Павла поехали Иордан с Агапией на телеге в город купить кое-чего.

Мать наказывала Митре:

— Смотри сиди дома. Приглядывай за всем. Слушай, что тебе говорю, а то прокляну. Коль мать проклянет, праха твоего не соберут.

Накануне лил дождь, и Лиса катила мутные волны. Дождь лил и всю ночь. Утром на несколько часов прояснилось, пока крестьяне добирались до города. Потом снова заклубились облака, и опять на целый день зарядил дождь. Митря сидел один и смотрел в серую даль. По дороге шли люди, покрыв головы мешками, и рассказывали друг другу, как вздулась река.

— Только бы не снесло мост, — сказал кто-то, — а то отрежет нас от полей.

Беда случилась сразу же после обеда. По мосту торопливо ехали несколько телег, возвращаясь из города. В устои моста бились волны и большие бревна, принесенные потоком. Шаткий мост скрипел по всем швам. Люди хлестали лошадей, спеша добраться до берега. Три телеги проскочили, а телега Иордана и Агапии отстала.

— Погоняй! — завопила женщина.

Иордан подхлестнул лошадей. Они рванулись, но тут же мост рассыпался, словно игрушечный. Бревна, люди, телега, лошади — все смешалось. Крестьяне, те, что успели выбраться на берег, в ужасе закричали, выскочили из телег и бросились к обрыву. Прибежали и другие; кто-то тащил багор, отчаянно им размахивая, словно хотел проткнуть низко нависшее небо.

Утонувших вытащили. Голова Иордана была разбита, вся в крови. Его опустили на высокий берег и рядом положили жену. У Агапии были переломаны ноги, она едва дышала.

Вдруг веки ее приподнялись, и она неожиданно увидела возле себя Митрю. Мальчик, широко открыв от ужаса глаза, дрожал, лязгая зубами.

Агапия, казалось, что-то шептала ему. Он наклонился к ней и разрыдался.

Мать сунула левую руку за пазуху и вытащила сладкий пряник в виде сердца. Пшенично-медовое сердце, украшенное красным сахаром, казалось окровавленным. Все это длилось одно мгновенье. Агапия умерла, и на лице ее застыла гримаса, похожая на улыбку. Рядом с нею Иордан черными остекленевшими глазами смотрел в беспощадное небо.

Глава вторая
Здесь мы знакомимся с Гицэ-мельником

Мельнику Гицэ было немногим более тридцати лет, но казался он гораздо старше. «От забот и огорчений», — жаловался он.

Безбородый, с воспаленными веками, был он низкоросл и заплыл жиром. Нос его от цуйки{6} преждевременно покраснел. Гицэ любил выпить и пил аккуратно, по четвертинке каждое утро. «В мельничной пыли, — говорил он, — нельзя без капли горючего, а то зачихаю, словно мотор».

Жена Гицэ, белесая и веснушчатая Станка, была чуть повыше его. Он скажет слово — она десять. Уже на похоронах родителей она косо посматривала на своего деверя Митрю; потом она все поворачивалась к Гицэ и что-то вдалбливала ему в ухо своим клювом. Глаза у нее были студенистые, рыбьи. Митря, заметив, что она сразу же его невзлюбила, про себя обругал ее.

Поминки справляли в родительском доме.

{6} Комментарии: 6
Цуйка — фруктовая водка.

Соседи пили и ели. Митря так и не нашел себе за столом места. Когда он, подцепив со стола какой-то кусок, укрылся в сторонке, чтобы незаметно проглотить его, Станка тут же отыскала мальчика своими белесыми глазами и сморщила нос. «С этой жить будет еще труднее», — подумал Митря.

Священник прочитал молитву, потом начал рассказывать людям про ад и про рай. Кто, мол, добр на этом свете, тот попадет в лоно Авраамово. Кто зол, тот осужден попасть в ад, чтобы мучили его черти веки вечные. Только дарами и молитвами можно заслужить милосердие божие. Да раскается грешник, да смирится непокорный.

«И в раю места за деньги продаются», — с усмешкой подумал Митря.

— Видел ты, как ухмылялся этот поганец, — сказала Станка, надвигаясь на мельника лбом, словно хотела его боднуть. — Батюшка про святое рассказывает, а чертенок обгладывает кость, калачом закусывает да зубы скалит. Попадешь ты, Митря, к самому сатане в лапы.

— А я себе проездной билет в рай куплю.

— На какие же это деньги?

— Твоя правда. Туда только богатеи на самолете полетят. Ну, коли нельзя мне в рай, пойду туда,

куда ты меня посылаешь. Там, говорят, и музыканты есть, и выпивка каждую неделю.

Невестка всплеснула руками:

— Слышишь, Гицэ, что он говорит?

— Слышу. Да что он про это знает? — И вдруг окрысился, топнув ногой. — Знаешь ты иль не знаешь?

— Откуда мне знать, я ведь там не бывал. Вот вы там, видно, были и знаете.

— Да и мы не были, умник ты этакий.

— Тогда откуда про рай вам известно?

— Ну, с ним не столкуешься, Гицэ! — закричала Станка.

— Ты ему слово, а он тебе снова. Ты ему — белое, а он тебе — черное.

— Я говорю — брито, а ты — стрижено, — пробормотал Митря.

— Так-то ты мне отвечаешь, сопляк?

— С горя я, ведь сиротой остался.

— Вон как ты разговариваешь, щенок, а еще хочешь, чтобы я тебя обмывала, одевала да кормила? У меня своих хватает, не нужен ты мне. У нас дочки тебе ровесницы, не могу я тебя к ним взять. Еще сестренка моя младшая. И без тебя за столом тесно.

Митря вздохнул.

— Послушай-ка, — заговорил мельник, потирая нос. — Жалко мне тебя, все-таки брат родной. Ты, жена, молчи, слушай мое решенье.

— Хорошего решенья послушаюсь, а нехорошего — не буду.

— Нет, будешь слушаться!

Мельник топнул ногой.

— Ладно, Гицэ. Ты знаешь, я из твоей воли не выхожу, только делай по-моему.

— Сделаю как лучше.

— Верю.

— Сделаю по совести, а ты помолчи.

— Молчу. Когда муж говорит, жена да убоится. Постой, Гицэ, ведь я еще не все сказала. Теснимся мы в домишке при мельнице, а нам бы что-нибудь попросторней надо. Жить там больше невозможно. Переедем-ка в родительский дом. Здесь и стойла хорошие. И сад. Все жаловалась бедная свекровушка Агапия, что дармоед этот черешни да сливы у нее обрывает.

— Замолчишь ты или нет? — осмелел после цуйки мельник. — Сам я так, стало быть, обмозговал, совета у тебя не спрашивал. Значит, мы сюда переезжаем — вот мое решенье. На мельницу его не можем принять — там чересчур тесно будет. Сюда принять не можем, потому сами переедем.

Посмотрим, стало быть, что делать.

Митря мрачно взглянул на него и решительно сказал:

— А ведь есть и моя доля родительской земли.

— Хе-хе! — засмеялся мельник. — Доля, верно, твоя, да что ты с ней сделаешь? Нет у тебя ничего, чтобы землю обрабатывать, да и сам ты еще мал. Вот отбудешь солдатчину, получишь свою долю. А до той поры я, стало быть, на ней сам работать буду.

— Но ведь земля, что мне полагается, урожай дает. Значит, и в нем моя доля есть.

— Вижу, считать ты умеешь.

— Считать не умею. Но из той доли, что мне полагается, я бы мог на ученье деньги брать.

Станка вскочила как ошпаренная.

— Да парень разорить нас хочет!

— Погоди, погоди. Молчи, жена. Дай я скажу.

Он повернулся к мальчику.

— Слушай ты, бестолковый! И отец грамотеем не был, и меня в школу не отдавали, а он был честным хозяином, да и я, стало быть, не хуже. Откуда взять еду, одежу, книжки и всякое другое, что для школы надобно?

— Так что же мне делать? По дорогам побираться?

— Эй, братишка, не смотри волком, есть у тебя такая привычка, как, бывало, и бедная матушка говаривала. Слушайся меня, ведь я старший брат и хозяин. Я придумаю, как поступить.

Митря замолчал. Слезы потекли двумя ручьями и закапали на рубашку.

Он рывком уткнулся лицом в стену, шмыгнул носом и проглотил рыданья. Затем обернулся и глянул исподлобья.

— Жалко мне тебя, бедненький! — вздохнула Станка.

Он злобно проскрежетал:

— Значит, из-за брата быть мне разбойником на большой дороге!

— Ах, вот ты как! — кинулся на него мельник. — Погоди, я тебе покажу! Сдеру с тебя шкуру! — яростно заорал Гицэ, дергая себя за волосы и злобно выпучив глаза.

Мальчик выскочил за порог и заложил за собой щеколду. Гицэ стукнулся лбом о дверь, словно баран.

— Подлая твоя душа! На куски разорву! Граблями собирать придется.

Он рванул дверь, так что она грохнула об стенку. Пригнув голову, Гицэ бросился вперед. Бежал он, тяжело дыша, потирая левой рукой шишку,

вскочившую от удара. В правой была прихваченная в сенях палка. Никого не было, чтобы удержать его, — все уже разошлись.

Митря стоял на дворе у навеса возле лошадей. Длинными железными вилами он подгребал свежескошенную траву. Когда показался запыхавшийся Гицэ, он бросил работу, чуть поднял вилы и в упор посмотрел на него с притворным удивленьем.

Мельник остановился, храпя, как взнузданный жеребец. Он смерил Митрю с головы до ног, потом с ног до головы, посмотрел на блестящие вилы. Конечно, мальчишка был сильней его — широкогрудый и плечистый.

— Бросим, братишка, шутки да глупости, — пробормотал Гицэ уже другим голосом. Потом ухмыльнулся, обнажив черные зубы.

Растрепав на бегу волосы, выскочила на двор и Станка. Она сразу же вцепилась в палку, которую держал муж.

— Гицэ, Гицэ, — завопила она, — оставь мальчишку в покое, прости ему.

— Ладно… Только пусть он меня больше не злит, — забубнил мельник. — У меня больное сердце, печень больная, и когда меня донимают, вся желчь у меня разливается.

— Пускай Митря живет здесь, пока все наладится, — просила жена, — пускай присматривает за скотиной и за птицей. Я буду ему с мельницы еду посылать — вот и довольно с него. Ведь, правда, Митря?

Митря молчал, не спуская с них глаз. Тут и Станку пронял страх. Она шепнула:

— Что делать, Гицэ?

— Поглядим, — пробормотал мельник. — Справлю ему сапоги и одежу. Пойду поговорю с господином Кристей, чтобы взял его работать в именье.

Мальчик кивнул головой. Гицэ сипло засмеялся:

— Ну что, так будет хорошо?

— Хорошо.

Возвращаясь домой, Гицэ сказал жене:

— Избавимся от него. Сдам его старому черту, туда, в именье. Боярин Кристя пристрелит его из ружья.

— И напугалась же я, — заохала Станка.

— Чего пугаться? Видела, чем его можно взять? Простофиля он, весь в отца, а горяч — не хуже матери. Теперь я знаю, какая нужна бычку веревочка. Наобещаю ему с три короба. Одену его. Заключим с барином контракт. Промается па-

рень там лет пять, а тут его, глядишь, и в солдаты заберут. Уж тогда — точка.

Станка забормотала, крестясь:

— Дай, господи, избавиться от него. Матерь пречистая, спаси нас от лукавого.

Глава третья
Мы знакомимся и с хозяином пустоши Дрофы — боярином Кристей Трехносым

Усадьба Хаджиу была расположена в четырех километрах от Малу Сурпат, среди редких старых акаций, на холме, раскинувшемся у края пустоши Дрофы, — пустоши, потому что не селился на этой земле ни один крестьянин. Только дикие звери рыскали по равнине, присоединяя свой вой и рев к завываниям ветра, да в воздухе плавно кружились орлы-стервятники, высматривая падаль поблизости от коровьих стад и овечьих отар. На всю степь только и было что три глубоких колодца с журавлями, один от другого на большом расстоянии, да еще ручей, похожий больше на болотистую низинку. После пятнадцатого декабря зима выпускала здесь на свободу дикий табун метелей. Весна наступала раньше времени. Расцветали цветы и быстро увядали. В разгар лета под белесоватым небом стояла немилосердная жара. Между хлебами время от времени появлялся, словно вырастал из-под земли, всадник

— господский приказчик. По укромным местам бродили осторожные дрофы. На юге поднималось марево.

Старый помещик Мавромати, вооружившись подзорной трубой, имел обыкновение осматривать с вышки усадьбы свое богатое поместье. Особенно внимательно наблюдал он во время пахоты и жатвы. Иногда что-нибудь ему не нравилось, тогда он вздрагивал, как ужаленный змеей, бросал подзорную трубу и кричал:

— Вот я пойду к ним! Покажу этим голодранцам, как надо господскую землю обрабатывать. Я плачу деньги за жатву и молотьбу, а не за то, чтоб они в Адынкате угрей ловили. Вот пойду и пальну в них из ружья.

Никуда он не шел. Не под силу ему это было: он едва передвигал ноги.

Так же, бывало, обрушивался Мавромати и на своих сыновей за то, что они сорили золотом за границей. Он и им угрожал ружьем в ответ на бесконечные письменные просьбы о деньгах и опять о деньгах. Даже несколько раз в луну стрелял, но все напрасно: сыновья как уехали, так больше не возвращались.

Нынешний владелец имения, Кристя, купил поместье у наследников старика. Он их даже и не

видел. Купчая была совершена их поверенным, и Кристя через банк выслал деньги в Париж, все равно что на луну. От этих барчуков-наследников больше не было ни слуху ни духу. Жили они, пока не промотали то, что получили за землю в Дрофах, политую потом и кровью тружеников.

Всем, что было в Хаджиу, стал пользоваться Кристя — и вышкой и подзорной трубой. Но он-то не шутил, когда угрожал ружьем. Он и вправду заряжал его мелкой дробью или солью.

Кристя был жесток и неутомим. Взгромоздившись на беговые дрожки, разъезжал он по всему поместью, имея всегда при себе ружье. Возил его размашистой рысью вороной жеребец. Еще издалека Кристя начинал орать и угрожать хриплым голосом, выбрасывая вверх руку, будто поршень. Был он уродливым и старым, безбородым и жирным. Из-за того, что между щек торчала у него какая-то картошка нелепой формы, люди из Малу Сурпат прозвали его Трехносым. Иначе его и не называли, даже фамилию забыли. Счастье, что он передвигался с трудом и быстро задыхался, так что люди могли спасаться бегством от его гнева. Он смотрел, как они удирали, осыпал их бранью и оставлял в покое, зная, что рано или поздно он их настигнет, а то и сами они придут к нему.

Настигал он людей с помощью старосты и жандармов. Приводила их к нему нищета и нужда.

К Кристе Трехносому и повел Гицэ своего младшего брата. Застали они его на вышке, откуда через открытые окна осматривал он в подзорную трубу свои владения.

— Подождите немножко, — приказал он им. — Вон там, я вижу, новый кучер ударил жеребца. Нет, это уж никуда не годится! Я ему вышибу зубы, бездельнику!

Они стояли и слушали, как он ворчит. Митря тайком поглядывал на него своими быстрыми глазами.

Он удивлялся. Трехносый с мельником были похожи друг на друга, как родные братья. Только помещик был жирнее и выше, а мельник едва доходил ему до плеча. Трехносый казался старшим братом, а Гицэ — младшим.

— Чего тебе, Лунгу? — вдруг обернулся к Гицэ хозяин именья.

— Привел меньшого брата, барин, как докладывали вам...

— Да, мне говорил управляющий. Погибли, значит, старики. А тебе самому он не нужен?

— Нет, барин, и других хватает на мою шею. Я хотел бы отдать его к вам — пускай поучится ра-

ботать, чтоб вышел из него дельный землепашец, получше меня. Уж будьте милостивы, возьмите его к себе лет на пять, пока не подойдет время солдатской службы. А там посмотрим. Может, и своим домом заживет.

Трехносый с сомнением покачал головой и долго смотрел на подростка.

— С виду паренек не плох, — заговорил он. — Если и голову на плечах имеет, из него что-нибудь может и выйти. Только работников у меня и так довольно.

— Мы многого не просим.

— Знаю. Про это и речи нет. По работе и плата. Потом посмотрим, чего он заслуживает. На первый год хватит ему одежи да стола. Для детей у меня такой порядок. Только я ведь тебе сказал, нет у меня надобности в работнике. Слуг у меня больше чем нужно.

Мельник с досадою почесал затылок, а Митря обрадовался.

Помещик снова взял трубу и навел ее на конюшню, затем, опустив ее, приказал Гицэ:

— Когда спустишься, скажи внизу, чтоб прислали ко мне Чорню. Кучера Чорню.

— Слушаюсь, барин, — подобострастно поспешил ответить мельник.

Он вздохнул и снова полез в затылок.

— Барин, прошу, не оставьте нас.

— Что же тебе ответить, Лунгу? — сказал Трехносый. — Слышал ведь — мне не нужно. Разве только ради тебя, ты, я знаю, человек исправный.

Лицо у мельника просветлело. Митря смотрел в потолок.

— От души вас благодарим… — поклонился Гицэ. — Целуем ручку, и я и братец.

— Хорошо! Хорошо!

Барин улыбнулся.

«Видно, сговорились… — подумал мальчик. — Будь что будет, не помру».

С этого же дня Митря остался в Хаджиу. Гицэ вернулся в Малу Сурпат.

«Что и говорить, славно быть слугой у барина, — вскоре стал размышлять Митря. — Знай гни спину и работай как вол. Будят еще до света. А замешкаешься, так приказчик хлыстом подгонит. Утром и сухой корки не успеешь проглотить. Зато в обед, наоборот, в фасолевой похлебке и боба не найдешь, огурцы вялые, мамалыга из гнилой муки. Скажешь:

— Ей-богу, прогоркла!

— Не нравится? — спросят со смехом.

— Да нет, нравится. Еще получше барского калача.

— Как бы живодер не услышал, — предупредят, — а то услышит, вырежет у тебя из спины ремень, чтобы было ему чем подпоясываться.

Другой спросит:

— Может, тебе, постреленку, и вина хочется?

— Да нет, — скажу, — есть для меня вода в реке, а иной раз и луковица. С меня хватит.

— Ишь ты какой, черт тебя подери.

— Так оно и есть, он и дерет!

Засмеются работники на мои слова.

— Эй, Митря, как бы не услышал Ницэ, управляющий, что ты про хозяина говоришь.

— Ай-яй-яй, если расскажет ему, ведь я службы лишусь!

И снова все захохочут.

— Не так службы лишусь, как порку заработаю!»

«И правда», — думал Митря, припоминая все, что видел, — хлыст приказчика по утрам казался легким дуновением, лаской по сравнению с расправой Трехносого. Митря видел, как производили экзекуцию над Чорней, тщедушным, чахоточным цыганом. Трехносый дал ему пощечину, и тот повалился влево, помещик тут же

трахнул его справа, а когда сунул кулаком в лицо, кучер рухнул навзничь. Трехносый топтал его ногами, пока не почувствовал, что скользит в крови. Тогда ему стало противно, и он отпустил цыгана.

Больше всего и боится этого Митря. Поэтому он и вертится волчком. Везде старается, где бы ни был: пашет ли, сеет, молотит — везде первый. Трехносый наблюдает за ним издалека. Сначала все смотрит через подзорную трубу. Потом спускается и останавливается где-то рядом. Митре не до разговоров. По небу бегут осенние облака, подгоняемые ветром. У него дела в конюшне: нужно законопатить щели, чтобы не дуло, а то зимой будет еще холодней. Ему жалко скотину, что же ей мучиться! Еще больше жалко самого себя, ведь и он спит вместе с волами на охапке соломы. Даже прикрыться нечем. Вот была бы у него теплая одежда… Будет, дожидайся, ведь здесь живется как у Христа за пазухой. Но пока он носит какие-то лохмотья.

Как-то повстречался он с госпожой помещицей. Это молодая барынька, третья жена Трехносого. Она обратила внимание на мальчика с живыми черными глазами, высокого, складного. Что это он все сторонится? Ему неловко, он старается

закутаться поплотнее.

— Как тебя зовут?

— Митря.

— Что это ты все прячешь?

У него заколотилось сердце. Он ответил с ненавистью, чувствуя, однако, что может быть дерзким: на это поощряла улыбка барыни.

— Что есть, то и прячу!

Она вздрогнула удивленно. Потом рассмеялась и не рассердилась. И вот на следующий день Митря получил новую одежду, а барыня пришла снова посмотреть на него.

— Что скажешь, Митря, так лучше?

— Лучше.

— Только это и можешь сказать?

— А что говорить?

— Скажи: «Целую ручку».

Митря отвел глаза в сторону, еще более смущенный, чем накануне.

— Целую ручку.

— Вот так. Учись не быть таким медведем. И когда разговариваешь, гляди на меня.

Она ушла, светловолосая, в большой соломенной шляпе с голубою лентой.

Разное говорилось про госпожу Дидину между людьми в имении.

«Бывает!» — думал про себя Митря, охваченный горячим волнением.

Потом все прошло. Он больше не думал об этом происшествии.

Глава четвертая
Лишь на мгновение появляется Настасия

Как-то в дождливую пору Митря отпросился у старшого к своему брату, мельнику.

Работать в поле было невозможно, выгонять скот на пастбище тоже нельзя было, и работники, толкавшиеся возле хозяина, гудели, как ленивый рой.

Старшой — дедушка Тригля — наказывал ему:

— Можешь идти, Митря, часика на два, на три, — только, смотри, не опаздывай, а то взбредет мироеду в голову собрать всех нас да устроить перекличку. Случается это. Кого нету, тому куска хлеба не даст, пока солнце не выглянет и поля не просохнут. Есть у него такое поверье, что коли кто отлучится, так из туч будет лить и лить.

Митря кивнул головой, злобно усмехнувшись:

— На дожди обижается, что ли?

— Как не обижаться, коли от них, вот как сейчас, одно разоренье!

— Поди, он из ружья и в небо по святым палит? — засмеялся Митря.

— Может быть, ему ведь все нипочем. Только ты этак-то не болтай, парень, как бы он тебя не услышал.

— Ну и услышит, дедушка Тригл я, не велика беда. Почему бы не пальнуть в того, — кто бы там ни был, — кто напускает на нас гнилые дожди, град да вьюги? И голод еще напускает, и болезни, и напасти… Позволяет богатеям поедом есть бедняков…

— Ах ты чертенок, — накинулся старик, — довольно тебе стоять и болтать что в голову взбредет, не то ожгу вот хлыстом. Подумаешь, какой грамотей нашелся.

— На мое счастье, брат не отдал меня в ученье. Не ругайся, дедушка Тригля. Я мигом слетаю — огня из кресала не успеешь высечь.

— Набрось мешок на голову, — посоветовал ему старик, поблескивая красным носом из зарослей белой бороды. — Возьми клячу какую-нибудь. Там на мельнице дашь ей пригоршню отрубей.

— Разве только украсть их, а то брат не жалеет ни человека, ни скотину. Весь налился скупостью, как отравой, того и гляди, лопнет. И на что ему столько денег? Коль живет, как последний нищий, то, значит, он бедней, чем мы.

— Ну-ну, иди уж, — заворчал на него старик. —

А теперь-то будто из Евангелья читаешь, словно поп.

С мешком на голове, верхом на неоседланной низенькой гнедой лошадке Митря мигом доехал до мельницы Гицэ Лунгу. Под навесом стояло семь-восемь подвод. С десяток людей сновало вокруг под дождем в вывернутых наизнанку шапках.

Митря привязал лошадь под навесом. Он потрепал ее за ушами, ласково похлопал по морде и заспешил к дверям мельницы. Мотор пыхтел и плевался из трубы прямо в тучи. Только он вошел — тут как тут на пороге брюхо Гицэ. Мельник выпучил глаза с воспаленными веками:

— И ты приехал? Голова идет кругом от забот. Видишь, сколько народу ждет, пока смелю кукурузу.

Митря остановился, смело поглядев на него сверху вниз.

— Тогда я пошел. Приеду через годок.

— Хо! Погоди, что так?

— Уж если ты меня и за брата не считаешь, то я пойду. У нас маленькая передышка из-за этих дождей, вот я и заглянул. Пока мельница смелет пару мешков, мы бы и перебросились парой словечек.

— Ну ладно, входи.

— Невестка Станка дома?

Мельник вздрогнул:

— А что? Голоден, поди?

— Нет. Повидаться хочу, как-никак она мне вроде сестры.

Гицэ замотал головой, словно отмахивался от шмеля.

— Смеешься ты над ней. Дел у нее, дел — страх сколько. Давай зайдем в эту каморку. Там у меня окошечко: видно все, что делается. Люди злы, братишка. Не приглядывай за ними, так крадут напропалую.

Митря удивился:

— А они говорят, что ты их обворовываешь. У них счет не сходится, когда ты за помол берешь, они понять не могут, как это выходит.

— Кто это говорит? — засмеялся мельник. — Не верь дуракам.

— Да мне что? Послушай-ка, Гицэ, из своего прибытка дай-ка мне пригоршню отрубей для лошади.

— Как, ты верхом приехал? Нету! Не дам! Пусть ее твой хозяин кормит, у него есть чем.

— Не скаредничай, — ласковым голосом попросил младший брат. — Ведь и лошадь — живая

тварь, работает наравне со мной. Хоть она и не моя, да жалко мне ее.

— Тебе-то жалко, да отруби денег стоят.

Мельник подошел к застекленному глазку и взглянул в него.

— Садись туда на лавку. Ну, что нового в Хаджиу? Эх, дождь не перестает. Напасть, а не дождь.

— Что делать? Поперек ему не встанешь.

Мельник засмеялся:

— А что сказал бы барин, узнав, что вместо слуги нанял мудреца?

— Мудреца он не знает, — ответил мальчик. — Уж его-то, верно, не честил бы так, как меня честит. Разговаривал бы по-человечески.

— А я слыхал, он тобой доволен.

— Он-то доволен, да я не доволен ни платой, ни едой.

— Эй, Митря, — выпучил глаза мельник, — не гневи бога. Хозяин у тебя хороший, держись за него.

Мальчик метнул на него суровый взгляд. Гицэ отвел глаза в сторону и пробурчал:

— А я вижу, одежа на тебе порядочная.

— М-да. Подарили какую-то рвань.

— Кто?

Митря не ответил.

— Слыхал я кое-что, — пробормотал мельник. — Только бы ты умным был.

— Куда уж мне!

— Глупостью, парень, не укроешься, не оденешься и сыт не будешь.

— Может быть.

— А от женщин, парень, могут быть всякие милости.

— Нет, брат, как ни горька мамалыга, что дают мне, в грязь ронять ее не хочу. Спать мне негде, зимой холодно. Еда совсем как у нищих — не по моей работе и не по силе. Думается мне, что в Хаджиу ничего не делается по справедливости. Ушел бы куда глаза глядят.

Мельник испугался, подскочил:

— Нельзя. У тебя контракт. Еще три года должен отслужить. Меня к ответу потянут. Я за тебя ручался. Еще неустойку могут с меня стребовать.

— Уйти бы куда глаза глядят… — продолжал Митря, словно не слыша причитаний Гицэ. — Хочу я тебя спросить, везде ли такие порядки по именьям. Здесь осенью крестьяне получают гроши под тяжелую работу будущим летом. Из долгов никак не вылезают. Барская мельница людей все мелет, в порошок стирает. А кто на

издольщине, тот сдает две-три части из пяти, а пока дождешься дележки, волосы сквозь шапку прорастут. Вот тут и работай. А сгниет кукуруза в буртах, мироед скупает ее задарма для винокуренного завода.

Мельник слушал с великим беспокойством и морщил нос.

— Откуда это ты знаешь?

— Видал.

— А коли видал, так забудь.

— Не могу да и не хочу!

— Забудь, говорю тебе! Бедняку не годится судить богатых. Раз ты бедняк — держись за хлеб насущный. Мало его, горький он, а все хлеб. Не то пропадешь, парень, раздавят тебя ногтем, словно вошь. Вот так в тысяча девятьсот седьмом году осмелились люди возроптать{7}. Пулями им рот заткнули. Снарядами дома с землей сровняли. Плохо пришлось этим людям. Помалкивай, чтобы и с тобой не стряслась беда. Я ведь тоже едва-едва оперился. Как бы и на меня твоя беда не свалилась.

Гицэ еще раз глянул в застекленный глазок, потом обернулся и как-то странно, совсем по-но-

---

{7} Комментарии: 7

…осмелились люди возроптать. — Речь идет о крестьянском восстании 1907 г., жестоко подавленном правительством.

вому, посмотрел на Митрю.

— Сейчас не уходи. Подожди немножко. Станка даст тебе перекусить.

Он быстро вышел, не дожидаясь ответа. Парень остался один. Мельница вдруг перестала шуметь. Послышалась ругань мельника, сердитые голоса людей. «Верно, поспорил с мотористом», — подумал Митря. Все стихло. Через некоторое время из глубины, где было жилое помещенье, послышался возмущенный визг, сразу же заглушенный бормотаньем мельника.

Сердце у Митри окаменело, он подумал: «Это из-за ломтя хлеба. А мне не надо. Отдам лошади».

Открылась низенькая дверца. Вошел Гицэ. За ним тоненькая, словно стебелек, девушка с карими глазами, в синей ситцевой юбке с красной каймой. Она несла блюдо с орехами и хлебом.

— Ставь сюда, Настасия, — приказал мельник.

Настасия была сестрой Станки. Она поставила блюдо на стол, уставившись на Митрю широко раскрытыми, удивленными глазами. Она бы не узнала его, так он вырос и возмужал, — словно яблоня, впервые расцветшая по весне. Уши у нее покраснели, как лепестки шиповника. Ей вспомнились пересуды женщин, их подозрения, что там, в имении, у этого паренька завелись

уже любовные шашни. Ее утешали только слова мельника, сказанные как-то Станке: «Повезло бы этому Митре, да он — ротозей, проморгает счастье».

Митря улыбнулся Настасии. Он отложил в сторону ломоть хлеба, а орехи высыпал с блюда за пазуху. Откусил от ломтя разок-другой. Остальное приберег для лошади.

— Счастливо оставаться, — сказал он.

Мельник притворился удивленным:

— Уже уходишь?

Митря только кивнул головой и вышел. Настасия вернулась к Станке, чему-то улыбаясь. За ней, ворча, вошел и мельник. Он ругал брата. Жена даже не повернула головы. Ее радовала эта ругань, и она шептала над полотном, которое ткала: «А что я говорила? Из собачьего хвоста не сплетешь шелкового сита».

Глава пятая
Милосердие мельников, господ и жандармов

Через несколько дней, в начале сентября, дожди прекратились. Установилась прохладная погода. Некоторые из работников именья, среди них и Митря, начали работать на самых отдаленных полях, у Воловьего колодца. Они сеяли пшеницу и торопились, потому что из-за продолжительных дождей осенние работы задержались.

Ночи теперь были ясные, и на аметистовом куполе неба сверкали бесчисленные маленькие звездочки, а большие горели, как огненные цветы.

Люди спали у лениво дымящих костров из бурьяна и навоза. Кое-кто, постарше, рассказывал о давних временах, когда в Джурджу хозяйничали турки и их конники совершали из-за Дуная набеги на бедных христиан.

Митря, закутавшийся в старую сермягу, слушал, опершись на локоть. Время от времени он опускал голову на кочку, которая служила ему изголовьем.

«На бедняков все напасти, — размышлял он. — То турки, хуже чумы, то мироеды, хуже турок. После них теперь еще и мельники объявились: нет для них ни родителей, ни братьев, только деньги да деньги».

Сквозь полуприкрытые ресницы проникали мерцающие лучи звезд, наводя дремоту. Он засыпал.

Проснулся он задолго до рассвета. Некоторое время прислушивался, как волы пережевывали жвачку. Потом до его слуха начали доходить и другие степные звуки. Высоко летели черные птицы, и с далекого Дуная доносился легкий ветерок. На самом горизонте обозначилась пурпурная полоска. Стали подниматься и его товарищи, батраки; разминая натруженные, налитые свинцом руки и ноги, они собирались у колодца. Чтобы заглушить голод, они глотали пахнущую тиной воду.

В то время, когда Митри не было в имении, к господину Кристе явился мельник. Грохоча сапогами по ступеням, он поднялся на вышку. Барин подождал, пока тот снимет шапку и поклонится. Он внимательно смотрел на него, спрашивая себя и пытаясь угадать по его лицу, с какими делишками мог к нему прийти Гицэ Лунгу.

— Что тебе?

— Барин, — сказал мельник, — несколько дней я раздумывал, а сегодня решил доложить. И жена моя Станка понукает. Пойди, говорит, скажи.

— Ну, говори, довольно мяться!

— Тут поневоле замнешься — ведь речь-то про брата моего Митрю. Жалко мне его.

— Оно и видно.

— Поучить бы его, барин. После как бы не было поздно!

Трехносый нахмурился, надув толстые губы:

— Да о чем речь-то?

— Барин, — набравшись храбрости, сказал мельник, — брат мой меньшой похвалялся, будто на него чьи-то жены ласково поглядывают.

— Это меня не интересует, — поморщился помещик.

— Правда ваша. Только не в этом все дело, — заторопился объяснить Гицэ, — что нам до этого? А вот зачем он плетет напраслину про то, как именье управляется?

— Какую напраслину? Говори, если есть что сказать, не ходи вокруг да около. Ты не волк, я не овчарня. Говори яснее.

— Скажу, скажу, коли приказываете. Не знаю, кто ему напел в уши, что при обмере земли обма-

нывают людей, что поздно делят заработанную кукурузу, что на работников столько поборов всяких. Будто он не знает, как тяжело достается хозяину с этими голодранцами?

Барин призадумался. Казалось, он совсем спокоен.

— Когда же он тебе это говорил?

— Да во время дождей. На мельницу ко мне приезжал. И еще верхом на лошади, я ей еще тогда немного овса насыпал.

— Вот уж не поверил бы, — рассмеялся Трехносый.

— Ей-богу, барин, честное слово даю!

— Ладно, брось. Скажи, как это ты из него выпытал?

— Сейчас скажу. «Брат, говорю, я вижу, ты приоделся. Кто же тебе подарил такую одежу?»

— Да брось ты, Дидина пожалела его и дала парнишке эти тряпки. Я им доволен. Он работящий и с головой.

— Только бы он дело знал, барин, и не болтал глупостей.

— Пока я за ним этого не замечал, — сказал Кристя.

— Язык у него длинный, барин.

Трехносый пристально посмотрел на мель-

ника.

— Тогда, Гпцэ, мы его укоротим.

— И больно уж он дерзкий парень!

— Если дерзкий — обломаем.

Господин Кристя в раздумье покачал головой.

— Жалко было бы его лишиться. Но и так этого дела не могу оставить. Я расследую. Быть может, обнаружится еще кто другой, о ком мы и не подозреваем. Какой-нибудь подстрекатель. Говоришь, он одеждой хвастается?

— Хвастается и смеется…

Мельник отправился восвояси, думая про себя, что хитрость его удалась.

— Не мне его бить, я не могу, — бормотал Гицэ, — пусть другие поколотят!

Мельник был в имении в среду. А в четверг, в обед, жандармский унтер-офицер Гырняцэ прикатил к Воловьему колодцу на паре вороных, запряженных в желтую двуколку, и позвал к себе Митрю. Он приказал ему сесть рядом с ним.

— Зачем? — спросил Митря, поднимая настороженный взгляд на представителя власти.

— Там увидишь.

— Письмо мне откуда-нибудь пришло?

— Половину угадал. Вторую половину узнаешь, когда приедешь в участок.

Глаза Митри потускнели. Он чувствовал, что такому бедняку, как он, не приходится ждать ничего хорошего.

— Господин унтер-офицер, — заговорил Митря, — разрешили бы мне хоть перехватить чего-нибудь, а то голоден как собака. Как говорит наш молдаванин с первой сеялки, у меня в брюхе мыши заночевали.

— Поешь в Малу Сурпат.

— Да ведь тут-то у нас жареная индейка и холодец, — засмеялся Митря.

Жандарм усмехнулся и хлопнул его по плечу.

— Ну ладно, садись в двуколку. У меня и других дел много.

По дороге Митря несколько раз пробовал выпытать хоть что-нибудь у своего спутника. Но усатый жандарм отмалчивался. Митря заговорил о дрофах. Гырняцэ не был охотником, но все же поинтересовался, с каким ружьем ходят на этих птиц. Митря стал расхваливать барина из Хаджиу. Унтер-офицер слегка улыбался, но языка не распускал.

Приехав в Малу Сурпат и войдя в помещение жандармского участка, Гырняцэ крикнул солдату, чтобы тот открыл «гостиную». Не говоря дурного слова и ничем не угрожая, унтер-офицер

пригласил Митрю войти, словно дорогого гостя. Митря стиснул зубы так, что у него в голове отдалось, но сдержался.

Он вошел в «гостиную». Несколько голых скамеек, на стене повешен календарь и в тонкой черной рамке — изображение господаря Влада Цепеша{8}.

— Теперь уж больше так не делают, как в его времена, — пошутил Гырняцэ. — Теперь у нас другие способы. Ты стой здесь у двери, внутри, — приказал он солдату. — Никого не впускать и особенно никого не выпускать.

— Что вам от меня надо? — угрюмо спросил Митря. — Где письмо?

— Нет никакого письма, парнишка. А дело такое, что ты повиниться должен.

— Это в чем же повиниться? Не в чем мне.

— Послушай, Митря, будь благоразумен. Так не отвечают, нехорошо. Смотри, недосчитаешься зубов во рту. А не будешь запираться, отделаешься легко. По-братски тебе советую.

Митря Кокор вздохнул, сверкнув глазами:

— Да что мне говорить-то?

{8} Комментарии: 8

Влад Цепеш — господарь Мунтении (1456–1462). Расправлялся со своими врагами, сажая их на кол, откуда и получил название «Цепеш» — сажатель на кол.

— Полегче, полегче, парнишка, говори со мной по-хорошему.

— Что же говорить? — раздраженно спросил Митря.

— Скажи мне, малец, где ружье?

Митря вздрогнул. Жандарм заметил, как он широко открыл глаза и усмехнулся, потом лицо его завяло, будто от безысходной печали.

«Ну что тут отвечать? — тревожно думал Митря. — Признаешься, что украл ружье, — так нужно ведь показать, где его спрятал. А скажешь, что ничего не знаешь и ничего не брал, — все равно один конец: надают пощечин, будут бить кулаками, палками, шомполом или мокрой веревкой».

Он выкрикнул яростно:

— Ничего не знаю ни про какое ружье. Не нужно мне оно, некого мне убивать. Пустите меня!

— Если признаешься, меньше попадет.

Митря Кокор яростно заметался:

— Чье ружье?

— Боярина Кристи. С ним на дроф можно ходить.

— То, из которого он дробью по мальчишкам стрелял, когда они сливы воровали?

— Э, поганец, да ты меня хочешь допрашивать!

В господа бога и панихиду! Признавайся, где ружье. А то я с тобой иначе поговорю.

— Не знаю. Оставьте меня! — упрямо твердил парень.

Гырняцэ спокойно приказал:

— Арон, свяжи его. Этот младенец выводит меня из себя.

Его связали.

— Ну что, скажешь?

— Нечего мне говорить.

Его били кулаками, пока сами не устали. Митря скорчился, уткнувшись подбородком в грудь, и вздрагивал с тихим стоном, идущим как бы из самой глубины его существа.

— Гляди, не хочет признаваться, — удивился унтер-офицер Гырняцэ. — Раздень-ка его да подай мне мокрую веревку.

Жандарм развязал Митрю и стянул с него рубаху. Митря лежал тихо, словно в забытьи. Жандарм вытащил из шкафа веревки и открыл дверь, собираясь идти к колодцу намочить их. Тут Митря неожиданно вскочил, молниеносно ударил его головой в живот, перепрыгнул через него и помчался прочь.

Гырняцэ кинулся за ним, споткнувшись на пороге.

Когда Митря Кокор прыгал через канаву, чтобы выбраться на шоссе, прямо перед ним остановился кабриолет из именья с дедом Триглей на козлах. С сиденья поднялся господин Кристя, чтобы посмотреть, кто это перепрыгнул через канаву, что это за человек: волосы всклокочены, глаза налиты кровью, по голому до пояса телу — кровоподтеки.

Помещик закричал:

— Стой! Оставь его, Гырняцэ. Хватит!

— Я дознанье проводил, барин, — пропыхтел Гырняцэ. — Не хочет признаваться.

— В чем признаваться-то? Ружья не крали, его механик почистить взял. Отдай ему рубашку и одежонку. Пусть садится возле Тригли.

Митря застыдился своей наготы. В кабриолете сидела и госпожа Дидина. Ей показалась забавной вся эта комедия, и она пыталась теперь прочесть в глазах стройного подростка хотя бы некоторую радость, что он спасся.

Мурашки пробежали у нее по спине, когда она увидела в его красивых глазах яростную ненависть.

Все же Митря пробормотал благодарность, стараясь не встречаться с ней взглядом. Потом он сплюнул кровью прямо в пыль, натянул на себя

одежонку и пристроился рядом с Триглей.

Глава шестая
Милосердие тех, кто живет в горестях

Барин вызвал его на вышку.

— Иди, — напутствовал его Тригля, — посмотришь, что он тебе скажет. Будь умным.

Митря глубоко вздохнул и пошел.

Хозяин сидел в мягком кресле, подзорная труба — на столике, ружье — в стороне, прислонено к подоконнику. Пристально посмотрел он на парня, но тот отвел глаза.

— Эй, Митря, посмотри-ка на меня. Слышишь?

— Как не слышать, слышу.

— Смотри на меня!

— Смотрю.

— Скажи, как это с тобой приключилось?

— А откуда я знаю?

— Больно было?

— Чего там больно. Рад был радешенек!

Трехносый нахмурился.

— Эй, как ты со мной разговариваешь? Не смотри в угол. Подыми глаза.

— …рад-радешенек был, что еще хуже не слу-

чилось…

— Ах, вот оно что! — ухмыльнулся барин. — Ты умен и хитер, чертенок.

— Ведь я, барин, человек бедный…

Хозяин заговорил другим тоном:

— Послушай-ка, Митря. И я рад, что все добром кончилось. Мне бы жалко было потерять такого работника, как ты, да и барыня слово замолвила.

Митря молчал, потупив взгляд.

— Можешь идти, — приказал барин. — Эй, погоди минутку. Говорят, ты язык распустил, болтаешь всякую всячину.

— А что мне болтать, барин? Я ни с кем и не говорю. Мне только и дела что до своей работы да заботы.

— Хорошо, парень. Помни, что написано в святом Евангелии.

— Откуда мне знать, — пробормотал парень.

— Молчи, когда говорит хозяин. В святом Евангелии есть слова: «Имеющий уши да слышит». Понял?

Митря Кокор нерешительно кивнул головой.

— Вбей себе эти слова в голову, ясно?

— Ясно.

— Ну, хорошо. Я тебе жалованье прибавлю.

Митря молчал.

— Вот возьми двадцать лей. Купишь себе табаку и цуйки. Надо и тебе погулять.

Скрипя зубами, спустился Митря с вышки, зажимая в руке ассигнацию.

Добравшись до конюшни, к деду Тригле, Митря бросил деньги на землю, плюнул на них, затоптал сапогом и грубо выругался.

— Что это ты, а? — удивился старик.

Митря застонал от обиды.

— Крепись, парень, — увещевал его Тригля. — О чем он тебя спрашивал? Что тебе сказал?

— Провались он к чертовой матери, — пробормотал сквозь зубы Кокор.

Тригля огляделся вокруг. Поблизости никого не было.

— А посмотрел он твою спину?

Митря отрицательно покачал головой.

— Я и не дивлюсь, — вздохнул Тригля. — Им и дела нет до наших страданий. В горькие мои деньки и мне немало досталось от этих мироедов. А деньги не рви, парень. Они нам сгодятся. Вот пойду куплю кой-чего. Я скоро вернусь, тогда с тобой поговорим. Будут тут к тебе подходить, спрашивать, как да что, — ты помалкивай.

Митря остался один и задумался. У него ныло все тело, как после непосильной работы, в спину

словно вонзились раскаленные иглы. В сердце закипала отравленная злоба — вот-вот переплеснет через край. Так и сидел он один, уставившись в одну точку, думая о жестокой мести, еще неясной ему самому.

Конюшня была пуста. Весь скот и люди были в Дрофах, в степи. Оттуда веяло зноем. Как дымка, тихо спустились сумерки. В эту ночь Митря должен был вновь выйти на работу с другими несчастными. И он был рабом среди рабов. Родителей у него не было, а брат — не был братом. Он чувствовал себя лишенным и любви и ласки в этом мире. Митря проглотил горькие слезы.

— Я замешкался, — проговорил, входя, Тригля. — Далеко до корчмы. Гляди, я цуйки немножко принес и хлебца, вылечу твои раны. Выпей малость, и я выпью за компанию. К завтраму боль и утихомирится.

Расскажу я тебе, Митря, чего ты еще не знаешь, — продолжал старик, примачивая на его спине рубцы, похожие на багровых змей. — Горька наша жизнь, пока доживешь до старости, да и после горько до самой смерти. Я ведь застал еще то страшное время, когда села подымались жечь именья и власти послали солдат из Молдовы расстреливать и убивать наших. А мне забрили

лоб и послали с полком в молдовскую сторону — колоть штыками тамошних, тоже наших братьев, крестьян.

Был у меня меньшой братишка, ребенок еще. Оставался он дома за скотиной ухаживать. Вот ударили как-то в барабан, прочли приказ — всем сидеть по хатам. И чтоб никуда не выходить, а то начальство из ружья застрелит. Как-то утром вышел братишка во двор. А по дороге шел патруль с молодым офицером. Увидел офицер моего брата: «Ты чего тут?» — «Вышел скотине корму задать», — говорит брат. «Поди-ка сюда!» Подошел мальчонка к воротам. Офицер вытащил из кобуры револьвер и — бах! Упал парнишка, как подрезанный колос, и пикнуть не успел. Этим же утром зарубили саблей Марину, жену Ницы Чортян. На сносях она была, ребеночек прямо на дорогу в пыль вывалился. Такого страху нагнали на мужиков, — на целый век хватит. Опамятовались мы и терпим. А сами все бедней. Уж и не знаю, что и будет… Болит небось?

— Нет, дедушка Тригля, сердце вот ноет… Все спрашиваю себя: до каких же пор терпеть нам?

— Пока господь бог не обратит на нас очи свои.

Митря вздохнул и застонал. Потом в тишине долго слушал рассказ дедушки Тригли про минув-

шие годы. Парень немножко захмелел от цуйки и стал клевать носом.

Дед Тригля остановился. Спросил:

— Спишь?

— Нет еще, — ответил Митря.

— Хотел я тебе сказать, что третьего дня, до того как стряслось с тобой это, приходил сюда в именье брат твой Гицэ. Говорил, дело есть к боярину. Просил, верно, прибавить тебе жалованья.

Митря вскочил с подстилки и крикнул так, будто обожгло его острой болью.

— Гицэ?

— Он самый.

— Мельник?

— Он, парень, он. Твой брат, мельник.

Точно молния пронеслась в мозгу Митри и сразу осветила все: и разговор на мельнице о делах в именье, и последние слова Трехносого на вышке.

— Знай, дедушка Тригля, это мой брат предал меня барину. Мало ему, что отдал меня в рабы, еще и со свету сжить хочет.

— Ох-охо! — вздохнул старик. — Ведь говорится…

— Не в святом ли Евангелье? — злобно усмехнулся Митря.

— Нет, в книге страданий, паренек. «Кто тебе

вырвал глаз?» — «Брат мой». — «Потому-то и захватил так глубоко!»

— Глубоко захватил, дедушка.

— Все может быть, — в нерешительности протянул дед Тригля. — Все может быть, после того что мы знаем про Гицэ. Только, слышь, ведь вы же от одной матери, и он, я знаю, ходит в церковь, исповедуется, причащается. Как же так — ведь может покарать его пречистая дева, отправить в ад, в самое пекло.

— Дедушка Тригля, какое ему дело до того света? Ему главное, чтобы здесь было хорошо. Брать за помол, владеть моею землею... Эх, почему я тогда не проткнул его вилами...

— Когда?

— Тогда, когда грозился он стереть меня с лица земли, после похорон матери с отцом.

Тригля перекрестился:

— Сохрани тебя дева пречистая от соблазнов дьявольских! Брось ты об этом думать, Митря, а то сгниют твои кости на каторге.

— Ладно, дедушка Тригля. Лучше, когда подойдет время, подам на него в суд.

— Нет, я бы и этого не делал, Митря. Вы еще поладите друг с другом.

Митря чувствовал, что его переполняют от-

вращение и гнев. Тригля удивлялся, видя, как он то смеется, то вдруг напрягает все силы, чтобы подавить в себе злобу. Дед поднес ему еще цуйки; после этого глаза Митри помутнели, и он упал лицом в охапку соломы. На другой день на рассвете Тригля отвез Митрю на телеге в Дрофы и оставил его среди суетившихся там работников.

Сначала никто не обратил внимания на парня. Только к обеду, когда начали собираться к колодцу и Тригля вынес из землянки борщ и ячменный хлеб, Митре стали было подпускать шпильки то с одной, то с другой стороны. Он держался вяло, как разморенный после бани, глаза были в красных жилках. В другой раз побоялись бы задевать его, зная, какой он горячий и отчаянный. Но теперь юнцы расхрабрились:

— Уж не возил ли унтер-офицер Гырняцэ его куда-нибудь на свадьбу?

— Может, он исповедовался и причащался у попа Нае и тот наложил на него епитимью?

— А может, его вызывал боярин Кристя, чтобы подарить ему другую пару сапог?

— Или подбить старые, потому что сносил он их, бегая за красотками.

Изнемогая от боли, Митря молча лежал на куче старых кукурузных початков. Взгляд его пому-

тился, он ничего не слышал. Борщ жена Тригли состряпала хороший и заправила его перцем. Хлеб был не слишком черствый. Митря мог бы с ним справиться своими молодыми зубами, но ему ничего не хотелось. Жизнь ему опостылела, он охотно лег бы в сырую землю, к мертвым, туда, где покой и тишина.

Все окружили Триглю. Старик чувствовал себя чем-то вроде начальства. Покуривая толстую цигарку из кукурузного листа, он рассказывал, какая напасть свалилась на бедного Митрю.

— Он знал про ружье не больше, чем мы с вами.

— Что знать-то, когда ружье и не крали.

— Будто в первый раз мироед пускает такую политику!

Все замолчали. Тело Митри сводила судорога. Потом он вытянулся на боку и как будто заснул. Тригля привел свою жену, старуху Кицу, которая почти двадцать лет тому назад принимала Митрю. Она покачала головой, почмокала беззубым ртом, затем наклонилась, дуя на все четыре стороны. Ей было тяжело, и, выпрямляясь, она застонала. Митря ответил ей тоже стоном. Она о чем-то думала, подняв палец вверх, потом морщинистое землистое лицо ее прояснилось.

— Избили его, родненького, — жалобно заголосила она.

Тригля прервал ее:

— Это и так видно, Кица.

— Да это не все, сглазил его кто-то.

— Скорей всего, Кица, почки ему отбили.

— И это может быть, только знаю я, что его сглазили. Возьму я его к себе под навес, укутаю, хворь заговорю. Чтоб им не дожить до утра, этим носачам, этим мельникам, разжиревшим, словно откормленные свиньи, и бабам, что заглядываются на парней!.. Чтоб иссушило их ветром, чтоб сгорели они в тифу — покалечили ведь парнишку.

— Молчи, старуха, — пробормотал Тригля, — еще услышит тебя кто-нибудь.

— Пускай те молчат, про кого говорю! Чтоб им и рта не открыть больше ни разу!

Старики перенесли и уложили Митрю в холодке под навесом, прикрыли его рваным кожухом. Дед бестолково топтался на месте, вертелся среди горшков и всякой утвари, искал уголька в золе на кострище, вытягивая длинную жилистую шею, чтобы еще раз взглянуть на Митрю, и только попозже обратился к жене:

— Управляющий Раду говорит, делай как зна-

ешь, только поставь парня на ноги. День-другой еще как-нибудь, а потом узнает Трехносый, будет беда. У Трехносого не разболеешься. Такие ему не нужны, сразу выгонит.

Старуха сердито повернулась к нему, словно взъерошенный сыч:

— Черт бы ему шею свернул: уж как он до денег жаден, жиреет, жиреет, а все мало. Ведь по его веленью избили парнишку, а теперь парень и виноват? Знаю я эти порядки, — вздыхала она. — Уж я-то знаю, на себе испытала. Пролежала я десять дней, а при расчете скостили за тридцать. Сожрал, что моим по праву было, да еще и сверх того накинул, отравиться бы ему гнилой желчью! Сходи-ка ты, Ион, этой ночью в именье, в нашу землянку, и поищи за иконой скляночку с наговорным маслом, смажу я парню раны. Много я мазала ран разным людям и вылечивала рубцы от плетей. Вылечу и этого парня, подниму его на ноги. Долго ему здесь не пробыть. Этой весной занесли его в рекрутский список, в сентябре пойдет он в полк. Может, хоть чужие люди его пожалеют.

— Кто уж там пожалеет!

— Все скорей, чем брат родной, — вон как разнесло его, будто через соломинку надули. И

скорей, чем наш барин со своей барынькой. Этому любо, что работает за троих, а той — другое любо. Пусть-ка придут посмотрят, что сделали из красавца парня. Вот схожу в воскресенье в церковь, поставлю свечку и пожалуюсь божьей матери. Богородица всемилостивая, дева пречистая, сотвори так, чтобы раздулись они да и лопнули, чтобы их как из ружья разорвало! Что, болезный мой? Что ты стонешь? Спина болит? Поясница?

Лежа с закрытыми глазами на своей подстилке, Митря помотал головой, — не болит, мол, у него ни спина, ни поясница.

— Знаю, знаю, сыночек, болесть твоя в сердце, от гнева и обиды.

Митря не ответил. Дед Тригля ушел. Старуха осталась одна, продолжая разговаривать сама с собой и с мертвыми призраками.

Тригля принес заговоренное масло. А вместе с маслом принес и приказ боярина Кристи, чтоб немедленно дали знать, исполняет ли Митря Кокор свое дело. Если не исполняет, пусть придет мельник и рассчитается за своего брата, потому что тот должен за одежду и обувь и еще кое за что — там в книге записано. На конюшне и на складе тоже есть нехватки, и отвечать за них должен, конечно, тот, кто привык воровать бо-

ярские ружья.

— Господи, порази громом изверга! — молилась бабка Кица на паутину, свисавшую из-под крыши сарая.

Господь бог услышал молитву бабки Кицы. Не поразил он громом и не испепелил никого, а наслал на Дрофы буйный западный ветер. Временами этот ветер приносил проливные дожди. Но когда дождь прекращался, ветер не переставал дуть, свистя и завывая.

В земляном очаге тусклым огнем горела гнилая солома. Дым кольцами выходил через дыру в крыше сарая. Бабушка Кица сидела на попоне, поджав под себя ноги, и смотрела на Митрю. Время от времени из золы поблескивали как бы два огненных глаза. Старуха плевала и открещивалась от этого призрачного видения.

Митря пристально глядел на два огонька в золе. Однако он еще был в полузабытьи. Старуха ощупала его и поняла, что его бьет озноб. По временам он погружался в тревожный сон и во сне вздрагивал; тогда отражения углей, как два светляка, мерцали в его полузакрытых глазах. Он вздыхал и невнятно бормотал, как будто хотел что-то сказать.

Кица внимательно слушала его, крестилась,

иногда смеялась, растягивая губы провалившегося рта.

— Раны его зажили, — шепнула она Тригле, укладываясь рядом с ним на соломе. Было уже далеко за полночь, и ветер утих. — Раны его зажили, но боль в сердце все не унимается. Когда петухи пропели полночь, жар прошел, и теперь парень спит. Только боюсь, сегодня к вечеру опять начнет бредить. А может, и не будет. Верно, душа покидает его и витает где-то вокруг именья или возле мельницы. Своими глазами вижу отсюда, как бестелесная душа его бродит, словно привиденье. Подстерегает кого-то. Тех, кто накликал на него эту беду и избил его. Вот-вот она схватит их и свершит суд.

— Парень еще болен, Кица. Но думается мне, — может, исполнится то, о чем ты говоришь. Только не в бреду это будет. А придет время, и отведут рабы душу за все свои невзгоды и беды.

Так и остался Митря Кокор в Дрофах, поправляясь после болезни, пока под осенними облаками не потянулись к югу дикие гуси.

Глава седьмая
Дружба и любовь

В полку жизнь Митри Кокора сначала шла словно в тумане. Она как-то походила на истолкование сна, который снился ему порою по ночам, когда он лежал в лихорадке. Это был один и тот же сон. Виделось ему, что стоит он и ждет, когда откроются огромные железные ворота в неведомый ему мир. Стоит он во тьме и липкой грязи, как после дождя. И много других тоже ждут по темным углам. Чувствует он это, но не видит и не знает их. Стоит он, вперив свой взор в высокие тяжелые ворота. Должен он пройти в иной мир. Было такое чувство, что расстался он с жизнью, которую вел в Малу Сурпат, и все события вспоминал разом, хотя проходили они год за годом, одно за другим. Все прошлое стояло, окаменев, сзади, и он покидал его. Митря ждал и знал, что ворота должны открыться, и вдруг заметил, что стоит он в лохмотьях, босиком, с непокрытой головой, едва поднявшийся после болезни. Бабушка Кица улыбается ему беззубыми деснами и укоризненно качает головой: «Нельзя

так, милый, идти к пречистой деве…»

Когда Митря просыпался после этого горячечного сна, сердце его колотилось. Часть его жизни миновала. А он был все таким же одиноким среди чужих людей, таким же сиротой, как и в детстве. Только Тригля и его старуха отнеслись к нему ласково. Теперь и с ними его разлучили.

Со страхом он пришел в полк, готовясь к жестоким мучениям. К его радости, ничего, что он смутно представлял себе, не сбылось.

Митря попал под команду фельдфебеля Катарамэ и решил исполнять все, как раб, для которого единственный исход — полное повиновение. Страх перед побоями подстерегал его сердце, словно зверь. Он опасался своего собственного возмущения, как натянутой пружины коварного капкана. Вот почему Катарамэ считал его ловким и покладистым парнем. Кокор нравился фельдфебелю, и тот взял его под свое покровительство. Но это мало облегчило Митре то горе, что угнетало его.

Через два месяца после зачисления Митри в полк, Катарамэ, как он сам выразился, «вынес постановление».

— Эх, Думитру Кокор, жаль мне тебя! Парень ты исправный и умный, да вот — неграмотный. Если

бы ты хоть немного в школе поучился, сделал бы я из тебя человека. Как я понимаю, надеяться на семейное имущество тебе не больно приходится. Вот ты, пожалуй, и мог бы занять мое место, потому у меня в сорок втором кончается третий срок сверхсрочной службы. Каков ты есть теперь, сможешь дойти только до ефрейтора — ну, а тут уж конец твоей военной карьере.

А то, в другой раз:

— Эй, Думитру Кокор, может, ты скажешь, что и в полку громоте выучишься. Отвечу тебе, Кокор Думитру: артиллерия — трудное оружие. Завязнешь ты в теории, как в тине, так что и не вылезешь. Не будет тебе времени грамотой заниматься.

Как-то раз поздно вечером в канцелярии перед смотром новобранцев Катарамэ соизволил принять в дар два литра вина от кузнеца Кости Флори. Митря помогал Флоре в свободные часы, так как умел ходить за лошадьми и легко с ними управлялся.

— Эй, Думитру Кокор, подсаживайся и ты, выпей стаканчик. Тебя вот просит старый служака. Говорит, ты добрый товарищ и уже научился ковать лошадей. Если понатаскаешься у него и в грамоте, быть тебе через год капралом. Он

демобилизуется сержантом, а ты оставайся на его месте. Я бы сказал, что на вас вся моя надежда. Флоря — моя правая рука, Кокор — моя левая. Думаю, завтрашний смотр сойдет хорошо. Вся забота и ответственность на нас. А те — что они понимают?..

О господах офицерах фельдфебель отзывался малоуважительно.

— ...Что они понимают? Волочиться за барыньками, зимой бегать по балам и играть в карты. Катарамэ столько не учился, как они. У Катарамэ только четыре класса гимназии, но он свое дело знает и в службе силен. Э-ге! Не будь Катарамэ... — Он погладил длинные седые усы и засмеялся. — Не будь фельдфебеля Катарамэ, трудненько бы досталось этим господам. Что скажешь, служба?

— Истинная правда, господин фельдфебель, — заверил его Флоря, тыча под столом Митрю пальцем в коленку.

— Если бы мне да их образованье, эге, я бы далеко пошел! Что скажешь, служба? Налей-ка еще стаканчик и скажи: далеко бы пошел... а может, и остался бы, как они. Зажил бы хорошо, и не было бы мне ни до чего дела. Был бы у меня фельдфебель — такой вот, как я сейчас. Фельдфебель,

сделай то, фельдфебель, сделай это, фельдфебель, сделай все, за это тебе государство деньги платит, на то ты и фельдфебель. А как мне платит государство? Эх, одни слезы. Едва свожу концы с концами. Лучше бы мне быть полковником, а господину полковнику быть на моем месте. Нет, так ничего не выйдет: ведь он дела не понимает.

— Зато если бы вы были полковником, вы бы понимали.

— И я так думаю, — приосанился Катарамэ. — Я бы в лучшем виде затянул подпруги и пришпорил. Только я так и останусь, как есть, и в сорок втором выйду на пенсию. Может, государство даст мне кусок земли. Открою я мельницу…

Митря Кокор усмехнулся:

— Как брат мой — Гицэ?

— А что, Кокор, твой брат — мельник? Тот самый, что землю у тебя отнял?

— Тот самый. Только я у него отберу свою землю, как только отбуду свой срок.

— Может, подашь на него в суд? — рассмеялся фельдфебель. — Пока найдешь правду, всю душу из тебя вытрясут, и сам пропадешь, и последнего состояния лишишься. Подумай-ка лучше, что война не за горами и нужно нам будет всего по три аршина земли.

Фельдфебель, видно, решил рассеять печаль, вызванную этими словами, и торопливо выпил еще стакан вина.

Костя Флоря насупился.

— Унесет нас всех, словно листья, — проговорил он. — Пропадет вся молодежь, останутся одни убогие.

— Что ты говоришь, эй, служба! — вспыхнул Катарамэ. — Солдаты мы или не солдаты? Обязаны мы или не обязаны воевать за родину?

Служба молчал, покачивая головой и глядя на Кокора. Тот снова усмехнулся:

— Мы будем воевать за господина Кристю Трехносого и за других вроде него, которые нас, бедняков, готовы живьем съесть.

— Что это за Трехносый?

— Да есть у нас такой… — вздохнул Митря.

Вмешался Флоря.

— Он мне рассказывал, сколько ему натерпеться пришлось. Горькая у него доля! Вино остынет, господин фельдфебель.

— С этим бы я разделался, раз-два и готово, — расхрабрился Катарамэ. Он был уже под хмельком, и глаза его подернулись влагой. — Эх, Кокор, одно жалко — блюсти порядок могу я только здесь. Там же, в твоих местах, порядки наводят

власти. А если не наводят, пошлем их ко всем чертям и займемся своими делами. Завтрашний смотр пройдет хорошо — вот у нас и порядок. Это главное. А уж этих господ я обработаю как знаю.

Фельдфебель Катарамэ славился своим особым способом увещевания. Как человек приличный и воспитанный, он остерегался, ругаясь, поминать богов, святых и пречистых дев. Он упоминал только части их тела, их одежду и украшения: бороду Саваофа, венец богородицы, сандалии святой Юлианы, суму святого Петра, пупок архангела Гавриила, все четыре Христовых евангелия…



М. Садовяну

— …Евангелия вашей матери, мужичье! — рычал он, широко расставив ноги и вытаращив глаза на хор четвертой батареи. — Разве так поют? Шире открывай глотку, чтобы на небе было слышно! Ведь ты солдат, сестре твоей архангельский пуп!

Для того чтобы проявить свою поэтическую оригинальность, фельдфебелю необходимо было значительное количество стаканов вина или вспышка гнева. В этот поздний час он долго ругал на все корки начальников и разных судей, потом начал устало позевывать.

Полковые часы пробили половину двенадцатого, когда капрал Костя и Митря отправились спать в кузницу четвертой батареи. Все было покрыто пушистым первым снегом, который слабо светился в безлунную ночь. Не слышно было ничьих шагов. Вдалеке, по углам внешней ограды, сонными голосами перекликались часовые. Сообщали друг другу, что на их постах все в порядке.

— Смена караула — самое счастливое время на земле, — пробормотал капрал.

Митря вздохнул:

— Уж никто не вернет мне тех лет, когда я

недосыпал…

В полной темноте они шли к кузнице. Вошли в каморку позади горна. Каморка была теплая, хотя и тесноватая, с маленьким окошечком, закрытым ставнями. Капрал зажег сальную свечку, стоявшую на трехногой табуретке. На полу лежали соломенные тюфяки, покрытые шерстяными попонами.

Они зажгли цигарки и некоторое время лежали, покуривая.

— Ну, слышал его? — спросил Костя Флоря. — Как тебе нравится фельдфебель?

Митря засмеялся:

— Мне нравится, как он ругается.

— Батарея — его вотчина, — серьезно заговорил Костя Флоря. — Он отхватывает от каждой порции хлеба и от каждого куска мяса, от овса для лошадей и от солдатского сахара.

— И никто его не накроет?

— А кто станет накрывать? Начальство ведь тоже своего не упустит. Капиталистическая система.

— Как ты сказал?

— Сказал-то я правильно, только ты не знаешь, что это такое… — улыбнулся капрал.

Митря опустил голову.

— Вот у вас, в Малу Сурпат, кто-нибудь отстаивает правду всех угнетенных и обездоленных?

— Там правда бедняков перед властями давно померла и похоронена, — прошептал Митря.

— И у вас, Митря, та же система, о которой я тебе говорил.

— Это, значит, такая система: волк съел — овцы виноваты, господин капрал.

— По твоим словам, Митря, вижу, понимаешь ты, что к чему, как всякий, кому довелось натерпеться.

— Да, господин капрал, многое я вынес, а другие еще побольше моего, да молчат и терпят. А мне порой приходит в голову, что лучше уж умереть такой жалкой пичуге, как я.

— Ну-ну. Тебе учиться надо. Тогда ты начнешь еще больше понимать.

— Может, передо мной и ворота открылись бы…

Кузнец недоуменно посмотрел на него. Он ведь не знал ничего о сне, который видел Митря.

— Так вот, Митря, я думаю купить тебе книгу и грифельную доску. На пятой батарее есть один грамотный из наших людей. Он тебе покажет…

— Ужели правда? — вздрогнул Кокор.

— Правда, только ты никому ничего не говори.

Позанимается он с тобой один день часок, другой день еще часок, поговорит с тобой о том о сем…

Кокор вздохнул.

— Есть на свете люди, друг Митря, которые борются за бедняцкую правду, за то, чтобы открыть глаза темному люду… — ровным голосом продолжал рассказывать кузнец.

Митря слушал его, ощущая в сердце радость, но все еще не решаясь дать ей волю.

— Трудно поверить в этакое.

Кузнец спросил с лаской и улыбкой:

— Слышал ты, дружище Митря, про революцию у русских?

Митря встрепенулся. Да, он слышал.

— Слышать-то слышал, а ведь не знаешь, что там было. Там поднялись угнетенные и свергли царя, отняли власть у капиталистов и установили власть рабочего класса. Вот обо всем этом ты и узнаешь от учителя. Теперь — спать! Третья смена прошла.

Митря лег на солому и завернулся в попону. Капрал потушил сальную свечу. Немного погодя Костя Флоря спросил:

— Эй, Кокор, ты что не спишь, все вздыхаешь?

— Я в другой раз скажу, господин капрал. Радостно мне, господин капрал.

— Зови меня по имени. Теперь мы друзья.

— Да.

— Ну назови по имени.

— Да, Флоря.

— Вот так.

Митрю наполняло чувство глубокой радости. Кузнец заснул. Взволнованный Кокор не спал. Ему грезилось, что он стоит перед воротами. Потом ему стало представляться все, что он пережил перед отъездом из родного села.

Вот он предстал перед помещиком, чтобы поблагодарить по обычаю «за хлеб, за соль».

— Иди с богом, — пробурчал угрюмо Кристя Трехносый.

— Я, барин, хотел бы получить расчет.

— Какой такой расчет? Вот подожди, придет твой брат, с ним и поговорю. Я все записал, что тебе выдавалось. Насколько знаю, еще ты должником остаешься.

— До конца жизни? — вспыхнул Митря.

— Нет, — вытаращил на него глаза Кристя. — Попридержи-ка лучше язык там, куда идешь, не то отправят тебя к черту на рога. Счастье твое, что у меня сердце доброе!

Митря отвел в сторону горящий взгляд.

Барин сочувственно покачал головой:

— Как вижу, нелегко тебе будет в жизни, парень. Не благодари меня. Иди!

Кокор повернулся и ушел. Выйдя за ворота, он распрямил плечи и потопал ногами, как бы отряхивая прах долгих лет рабства.

Из Хаджиу он отправился на мельницу.

Брата Гицэ он застал одного. Жена и дети ушли на хору.

— Дал тебе что-нибудь барин? — спросил мельник.

— Как же, еще к моему долгу присчитал!

— Брось, Митря, я вот сам разберусь и все выясню.

— Чего выяснять, дело ясное: я работаю — я же и плачу.

— Не так, братишка, не так, — занудил мельник, почесывая затылок. — Ты что, не доверяешь старшему брату? По-твоему, я не думаю о твоей судьбе?

Митря яростно крикнул:

— Когда придет время возвращаться в Малу Сурпат, останется от меня одна дубленая кожа. Вот моя судьба…

— Все может быть, если не смиришься.

— А ты, брат, сшей невестке из этой кожи туфли.

— Не лезь на рожон, братишка. Невестка тебе поесть оставила. Она тебе дарит два полотенца и две рубахи.

Митря промолчал.

К вечеру Митря отправился на гулянье. У корчмы собрались парни, которым предстояло разъехаться по своим полкам. Он опорожнил с ними стаканчик-другой вина и захмелел. Вместе с ними пел он песни и шумел. Поздно вечером всем им надо было уже ехать в поезде.

Митря пошел на мельницу за узелком с бельем. Невестки там не было. Узелок с бельем был в старом родительском доме.

— Я бы проводил тебя в Алуниш, на станцию, сказал Гицэ, — да не могу оставить мельницу. Ну, давай руку и расстанемся как добрые братья.

Руку Митря ему пожал, но добрым братом себя не почувствовал.

Идя в село, он что-то бормотал, то и дело срывал с себя шапку и тяжело дышал, раздувая ноздри. С жалостью к самому себе думал он о том, как теперь с него сдерут шкуру и выдубят ее.

Невестки не было и в родительском доме. Она с детишками уже ушла другой дорогой. Митря застал только сватью Настасию. Она так выросла, что он ее не узнал. Толстые косы спускались ей

на грудь. Большие карие глаза были все так же красивы.

— Я ждала тебя, братец Митря, чтобы передать белье.

— А?

— И коли есть у тебя время, посиди маленько, хочу у тебя спросить кое-что, посоветоваться с тобою.

— Хорошо, посижу.

— Знаешь, братец Митря? Сестра моя с зятем хотят отдать меня в монастырь Цигэнешть, туда, где наша тетка живет, старая монашка.

— Зачем туда отдавать? — удивился Митря. — Нет у тебя, что ли, права жить по-своему?

— Есть-то есть, братец Митря. Только сестра моя с зятем не хотят моей доли земли лишаться. Так вот если пошлют меня в Цигэнешть, то земля им останется.

— А что ты мне все говоришь? Я не поп, чтобы исповедь принимать.

Настасия вспыхнула:

— Знаю я, братец Митря, что не нравлюсь тебе, что есть в Алунише Вета, дочка Вамеша, которой ты нравишься. Значит, судьба моя — идти в Цигэнешть.

Девушка заплакала, подперев щеку левой ру-

кой.

Митря взял ее за правую руку и усадил рядом с собой.

— Кто тебе сказал про Вету?

— Да так, слышала.

— Знай, Настасия, — тихо заговорил Митря, — все это выдумки.

Она успокоилась и, улыбаясь, взглянула на него сквозь жемчужинки слез:

— Значит, не идти мне в монастырь?

— Нет, не иди.

— И дожидаться, когда ты вернешься?

— Этого, Настасия, я не говорил. Делай, как тебе сердце подскажет.

Она вздохнула.

— Я буду тебя ждать.

Настасия торопливо встала, вошла в дом и вернулась с румяными грушами, с того самого дерева, на которое когда-то, еще ребенком, лазал Митря и с которого его стаскивала давно уже погибшая мать. Митре вспомнилось забытое лицо Агапии, и сердце его смягчилось. Девушка прочла в его глазах ласку и порадовалась за себя.

Митря не знал, что еще сказать. Он наморщил лоб и засмеялся:

— Настасия, хочешь, скажу тебе загадку про

мельницу и про Гицэ?

— Хочу, братец, — ответила Настасия, — скажи.

Она снова присела рядом.

Митря встал и поднял ее, держа за обе руки.

— Скажи, Настасия, что это такое:

Век в работе
И в заботе,—
Но напрасно суетится:
Жрет — она, толстеет — Гицэ!

Настасия прыснула со смеху, закрывшись ладонями.

— Смотри не скажи на посиделках.

— Другие найдутся, скажут, — заверила его девушка.

И оба перестали смеяться.

— Ну, пора мне! — решил Митря.

Она загрустила. Он оставил ее грустить, а сам ушел. На старой вербе стрекотала сорока. Стояла тихая осень.

Девушка догнала его и шла рядом с ним по улице села, пока не показались люди.

Глава восьмая
Как у Митри чуть не появился учитель

Учитель торопливо вошел в кузницу. Это был широкоплечий, смуглый мужчина со вздернутым носом. Митря почувствовал, как у него забилось сердце, когда тот внимательно взглянул на него глубокими зеленоватыми глазами.

Костя Флоря предупреждал Митрю: «Если улыбнется тебе, значит, взял тебя в ученики». Учитель посмотрел на парня, что-то прикинул про себя и протянул ему букварь и грифельную доску. Увидев, как обрадовался Кокор, он улыбнулся, пожал ему руку и похлопал по плечу:

— Наверно, у тебя есть девушка, которой ты хотел бы написать?

— Есть, — серьезно ответил Митря.

Митре понравился его голос с мягкими переливами.

— Так знай, через месяц, самое большее через два, я куплю тебе почтовую открытку и карандаш, и ты ей напишешь.

Черные глаза Митри мгновенно словно подер-

нулись туманом.

— Я ей напишу. Есть у меня к ней дело.

— Понимаю.

Митря смущенно сказал:

— Не про то, что вы думаете. Не про любовь.

— Значит, письмо деловое?

— Да, вышла там закавыка с одним мельником. Он называет себя моим братом.

— Хорошо, Кокор; если ты мне доверяешь и будет у тебя желанье, ты обо всем мне расскажешь. Только не сейчас: времени нету.

— А когда же начнем? — нетерпеливо спросил Митря.

— Потерпи. Сейчас, в одиннадцать часов, я должен явиться к полковнику. Мне только что, по дороге сюда, передали приказанье.

Капрал Флоря внимательно слушал и вопросительно посмотрел на него.

Затем он перевел глаза на Митрю, и в этом взгляде была глубокая озабоченность. Учитель ушел.

— Может, ничего плохого и не будет, — заметил Митря.

Флоря, погруженный в свои мысли и заботы, покачал головой. Митря допытывался:

— Разве может что случиться?

— Может.

— А что я буду тогда делать с доской и букварем? — простодушно развел руками Митря.

Капрал Флоря горько усмехнулся:

— И такого человека травят, как зверя, преследуют! — зашептал он. — Что ты на меня так смотришь? Подойди-ка поближе и стань тут. Может случиться, позовут и нас на допрос, чтобы мы свидетелями были.

— Да ведь он же не злодей?

— Нынешние власти считают, что злодей. Злодей, потому что в партии.

Флоря умолк. Глаза Митри продолжали спрашивать.

— В партии рабочих, — продолжал Флоря, — в той партии, которая хочет добыть правду всем обездоленным. Опять ты так на меня смотришь?

— Так и смотрю, — ведь я дурак, ничего-то я не знаю.

— Я тебе все объясню, только если тебя спросят, — ты не слышал ничего. Понял?

— Понял.

Митря почувствовал, как у него цепенеют язык и губы.

— Да только сегодня нет у меня охоты рассказывать. Сердце у меня все почернело, словно смола.

Эх, сколько так пропало людей, что стараются мир переделать.

Кузнец был как в воду опущенный, в глазах его стояла скорбь. Митря не осмелился больше ни о чем спрашивать. Он решил ждать и надеялся, что опасенья капрала окажутся напрасными и зеленоглазый учитель вернется.

— Оставь меня одного, Митря.

Кокор взял доску с букварем и вышел. Ему казалось, что они мертвы в его руках и он идет хоронить их.

День был промозглый, и окоченевшие солдаты слонялись по пустому плацу, скользя по грязи. Они бродили просто так — безо всякой цели, безо всякой надобности. Вороны кружились над казармами, хриплым карканьем предвещая метель. Горнист время от времени играл сигналы. Дежурные сержанты дробно стучали ногами, вполголоса изрыгая ругательства.

— Коляска господина полковника! — выкрикнул кто-то.

Кокор остался ждать в холоде и сырости на том месте, где его застал этот выкрик. Он еще долго стоял после того, как проехал полковник. В пролетке с поднятым верхом он увидел только сапоги со шпорами. Потом прошли несколько

офицеров. Они торопились, затягивая на плащах ремни. Прозвучал сигнал к обеду. Митря переминался с ноги на ногу, словно приноравливаясь к тяжести своего горя.

— Эй, чего ты здесь ждешь, паренек?

Это был кузнец, унылый, потемневший, хмурый.

— Жду, не выйдет ли он.

— Попусту ждешь. Его взяли два агента из Главного управления сигуранцы и увели. Только сейчас я стал успокаиваться. Да что там за успокоенье? Горе, а не покой!

Сам не зная, что делает, Кокор показал капралу букварь и доску. Потом снова зажал их под мышкой.

С этого дня Митря Кокор испытывал непрестанное волнение, видел тяжелые сны. Его судьба казалась ему такой же горькой, как судьба того, что увели.

Только один миг были они вместе. Даже имени учителя Митря не знал. В его зеленых глазах было, казалось, все будущее Митри. Один миг — и учитель исчез, как летучие видения печальных ночей. Теперь Зеленоглазый в тюрьме. Над ним учинила суд и расправу боярская власть. За что учинила суд и расправу, Митря понял легко. Кое-

что объяснил ему кузнец Флоря; другое острой болью было врезано в его сердце. Зеленоглазый был бунтарем, коммунистом, одним из тех, кто поднимал рабочий люд. Зеленоглазый был революционером, как и те, кто разрушил русскую империю. Было ясно, почему правители страны преследовали Зеленоглазого и других таких же, как он, мучая их жестокими пытками в тюрьме.

Сердце его сжималось. Зачем эта жертва? Зачем столько жертв?

Но он сразу понял, зачем, когда в памяти перед ним встало его нищее печальное детство.

И в нем кипело возмущение; он был подобен всему народу рабов, которыми полон мир. «Разрушим несправедливый строй!» — кричало все его существо. «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов», — звучали в его ушах слова, которые, бывало, напевал вполголоса кузнец.

«Зеленоглазый понимает наши страдания и надежды, мои и еще сотен тысяч таких, как я, — и вот теперь он брошен в пещеру людоедов», — думал Митря Кокор. Но кузнец Костя, поборовший свою мучительную душевную боль, внушал ему, что революционная армия, бесчисленная, подобно песку, сметет власть тиранов, а все, кого

преследуют, все борцы за народ выйдут из мрачных тюрем на солнце свободы.

— Горько мне, — признался как-то вечером Митря Кокор кузнецу, сидя возле теплого горна, — остался я без учителя, только с грифельной доской и букварем, будто с немыми братьями, от которых ничего не узнаешь. Боюсь, как бы на всю жизнь не остаться мне в темноте.

Вот был у нас, в Малу Сурпат, мужик один, Георге Мындря. Хоть и бедняк, а работник славный, с головою. Нашел он жену под стать себе, женился по весне и слепил на скорую руку землянку. Потом, не откладывая дела, занял денег под будущую работу и построил себе домик, в котором жить бы да поживать. Смелый был. Но только кто записан в книгу в Хаджиу, — на всю жизнь в рабство записан. Стены он деревянные возвел, а достроить дом так и не смог. Вот и остался он рабом старого боярина, а потом Кристи Трехносого. И он раб, и жена его рабыня. Я знал их уже стариками, когда они всякую надежду потеряли.

Был в Хаджиу еще Лае, по прозвищу «Бедняк», которого никто иначе и не видел, как в рваных постолах да в латаной-перелатаной сермяге. Летом ли, зимой — все так ходил. И пятнадцать лет, и год тому назад — все так ходил. Были у него

когда-то волосы черные, глаза живые. А теперь поседел, взгляд помутился. Он так и не вылез из бедности и, хоть век живи, не вылезет никогда, так и останется, каким я его знаю.

Вот и я тоже. Думал учиться. А видать, останусь на всю жизнь невеждой и дураком.

Кузнец задумался, тяжко вздохнув.

— Давай, брат, — сказал он немного погодя, — договоримся с тобой, чтобы я не видел тебя больше в таком унынии. Грамоте я немножко знаю. А тем, что знаю, с тобой поделюсь. Дай-ка сюда букварь и доску.

Так Кокор и начал учиться.

Сначала было трудно, пальцы не сгибались, в глазах рябило.

Митря научился различать буквы и дрожащей рукой выводить их на доске, однако не мог понять связи между знаком и звуком. Он пыхтел, как после тяжелого подъема, и там, где останавливался, все еще ничего не видел. Кузнец сам не мог ему все объяснить. Но однажды вечером при свечном огарке Митре словно молния все осветила — он понял.

— Я высиживал эти закавычки, — радостно сообщил он кузнецу, — и вдруг из них, как цыплята, слова вывелись, даже сам удивился.

Под пасху 1942 года Митря вооружился карандашом и, соблюдая полковой стиль, вывел неуклюжими буквами на почтовой открытке следующие, немного кривые, строки:

«Дорогая сватья Настасия, желаю, чтобы мое письмецо застало тебя в счастье, и извещаю тебя, что мы, рекруты, окончив ученье, готовимся к делу, и не знаю, увидимся ли мы еще в этой жизни, но, может, бог даст, уцелею, так что ты меня жди. Обнимаю тебя тысячу раз и остаюсь твой

ефрейтор Кокор Думитру».

Глава девятая
Военные бедствия весною любви

Из этого послания начинающего грамотея, который, чтобы нацарапать слова «как курица лапой», пропотел целый час, было ясно, что правительственная цензура преследовала слово «война», и он знал это. Остерегались, чтобы «шпионы» не проведали, когда и как отправляется новое пополнение на восток. Митря писал: «…мы, рекруты, окончив учение, готовимся к делу…» Между двумя папиросами скучающий цензор скользнул глазами поверх этих невинных известий. Но сватья Настасия в Малу Сурпат была более внимательна.

Газеты тоже были абсолютно немы относительно перемещения войск по стране, как и сводки по радио и официальные бюллетени, вывешенные примэриями и префектурами. По мнению тогдашнего правительства, народ не должен был ничего знать об этих секретах, предназначенных только для великих мира сего.

И все-таки народ знал. Раньше и точнее других узнавали все рекруты, когда приходила их

очередь отправляться на бойню. В поле, проходя боевую подготовку, на учебной стрельбе или в казарме, на занятиях по теории офицеры говорили только о противнике и еще раз о противнике, развернувшемся на безграничных пространствах среди лесов и болот. С некоторого времени упоминались скалистые горы, например, такие, как на Кавказе. Слово «Одесса», неизвестное ранее целым поколениям крестьянских тружеников, покоящимся на кладбищах, теперь часто мелькало в обычных разговорах.

Впрочем, два раза в день германские военные сводки опровергали двусмысленное молчание тогдашних правителей Румынии. Война становилась все более жестокой и требовала увеличения войск, то есть увеличения жертв. Высылка евреев и цыган за Днестр дала повод для политических комментариев даже тем, кого систематически держали вдали от подобных занятий. Бесконечные железнодорожные составы с военной добычей немцев, а также «трофеи» румынского командования, состоявшие из того, что проскальзывало у немцев между пальцами, указывали, что там, далеко на востоке, происходят события, неслыханные прежде, сколько в мире ни было войн. Неофициальная, но правдивая военная

сводка составлялась ранеными, побывавшими под огнем, и самыми различными курьерами — то от дивизий, то персонально от офицеров. Официально узаконенный грабеж, массовое уничтожение мирных сел и ни в чем не повинного населения, сотни разрушенных и сожженных городов — все говорило о том, что мир постигло бедствие пострашнее, чем были когда-то нашествие Атиллы и Чингисхана с их ордами.

Командующие немецкими войсками похвалялись «научной» войной, поставив на службу смерти и разрушения все достижения науки. Еще сотню лет тому назад существовал закон войны, который был, если можно так сказать, человечным, — он запрещал солдатам под страхом смерти грабить и убивать невооруженное население на территории противника. Теперь это запрещение было отменено немцами, и командиры приказывали войскам воевать безо всякого намека на человечность, еще более жестоко, чем дикие орды в старину, — так что люди теперь научились — каждый это скажет — особенно ценить ласку и милосердие.

Атилла полторы тысячи лет тому назад считался «бичом божьим», а Чингисхан в тринадцатом веке — истребителем рода человеческого. Оба,

превращенные в прах, вызывают проклятия веков — и они сами, и их орды. Теперь Гитлер возомнил себя чем-то вроде парового катка, дробящего в порошок все другие народы, чтобы в мире осталась одна германская нация. Конец его предначертан самим безумством истребления. Атилла и Чингисхан были жестокими, необузданными варварами, которые умели расписываться только мечом и пьянели, распивая вино из черепов побежденных. Они жили во времена темноты и невежества, между тем как гитлеровский «каток» появился как бы из могилы прошлого среди современного мира, слывущего цивилизованным.

Ефрейтор Думитру Кокор имел обо всем этом поверхностное представление и с горечью пытался разобраться в происходящем. Во всяком случае, он понимал, что наступает его черед идти на гибель. Ему нечего было делить со своими собратьями — людьми там, на востоке, где свирепствовала буря разрушения. Он никому не желал смерти да и самому себе желал благополучия. И в нем накипал гнев при мысли, что после долгих лет рабства теперь у него без всякого повода и без всякой вины отнимут жизнь.

Он начал понимать, что эту войну затеяли нена-

сытные, что за этих вечно ненасытных гибнут вечно голодные, что помещики и капиталисты расплачиваются за войну народной кровью, пытаясь ниспровергнуть русскую революцию, чтобы отвратить угрозу, нависшую и над ними. Такие зачатки понимания появились у Митри от разговоров с кузнецом Флорей и от брошюр, которые тот давал Митре, читавшему их до поздней ночи при свете сального огарка, пока совсем не слипались глаза.

Почтовая открытка, хотя и написанная неопытной рукой, была составлена так, что могла дойти до Малу Сурпат через все преграды. Настасия должна была понять, что ей нужно приехать к нему, «свидеться хоть еще разочек в жизни». Коли не удастся приехать, пускай, мол, все равно его ждет: может быть, он избежит смерти и вернется.

Это было письмо любви и печали.

Письмо дошло до Малу Сурпат, и почтальон принес его на мельницу, вручив Настасии прямо в руки. Девушка прочла его с несказанным удивлением, вся зардевшись. Она поглядела вокруг, ее угрожает ли кто ее сокровищу, и спрятала открытку на груди, рядом с цветком чабреца, сохраняемым в память о том, на кого уже перестала

надеяться. Но вот он прислал весточку.

Неизвестно, через кого — подружек или кумушек, двоюродных сестер или сватей, — но в Малу Сурпат узнали, что призывников 1942 года скоро отправляют на войну. Даже очень скоро. Жены, братья, родители должны немедленно собраться в путь, чтобы хоть еще разок повидать милых сердцу.

— И мы непременно поедем! — решительно заявила Настасия своему зятю и сестре, сурово глядя на них и оправляя дрожащими пальцами косы, уложенные короной.

— Уж и герань за ухо заткнула! — раздраженно закричала мельничиха. — Письмецо, видать, получила!

— Получила… — пробормотал мельник. — Мне в корчме почтальон говорил. От Митри.

— Господи боже мой! Получаешь письма от военных, писанные полковыми писарями, чтобы все люди знали и смеялись над тобой. Правду говорит Гицэ, не с людьми твое место, а в монастыре.

— Нет, место мое с людьми, — поджав губы, сказала Настасия, — а письмо он написал своей рукой.

— Уж не научился ли он грамоте на службе? —

изумился Гицэ.

— Научился! — задорно ответила девушка.

— Ну и история, братцы-сестрицы мои! — завопил мельник. — На что это ему нужно? Что делать солдату с грамотой, а? Солдату другое надобно. Солдат должен идти на войну и биться с врагом — вот его дело! Он идет с ружьем и стреляет по врагу, а тот в него. Вот так мы говорили в корчме. Убивают одних, убивают других…

— А ты что, Гицэ, на родного брата смерть накликаешь?

— Ничего не накликаю, только война — она и есть война.

— А его добро тебе достанется?

— Какое добро? Нет у него ничего. Останется мне несчастный клочок земли, так его еще обработать нужно.

— А если вернется Митря?

— Пусть вернется!

Настасии хотелось вцепиться в деверя ногтями. Глаза ее округлились и обнажились зубы, похожие на лепестки ромашки.

— Вернется он, вернется!

Она пропела эти слова, как победную песню.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

— Из письма, что ли?

— Из письма.

— Дай-ка я посмотрю.

— Что ты увидишь, когда грамоте не знаешь?

— Дай, мне поп прочитает.

— Пусть тебе поп отпущение грехов читает. Не дам я письма.

— Эй, отдай письмо, а то поколочу.

— Колоти того, кого сумеешь, а не меня, образина.

Гицэ бросился на нее, мельничиха завизжала, всплеснув руками. Настасия мигом выскочила за дверь и как ветер помчалась к своей крестной, Уце Аниняске.

Около полудня явилась мельничиха звать ее обедать:

— Пойдем, сестрица, Гицэ утихомирился.

— Не пойду я к врагу ненавистному.

Крестная Уца была вдовой, но еще женщиной в силе. Она с укоризной посмотрела на них. Глаза у нее были черные, брови срослись.

— Эх, девки, — сказала она, — попадете на язычок всему селу. Стыд-то какой!

— И правда, тетка Уца, — запричитала мельничиха. — Скажи ты Настасии, чтоб возвращалась. Пусть не боится. Гицэ тоже не хочет скандала.

Такой человек, как он, не должен себя ронять. Что там споры заводить с сумасшедшей девчонкой!

— Сумасшедшая, да не я! — змейкой взвилась девушка. — Я жизнь свою защищаю.

— Пусть будет по-твоему, — смирилась мельничиха, — только пойдем. Промеж людей, что у мельницы собрались, уже пересуды пошли. Спрашивают, вправду ли мы тебя в монастырь отослали, вправду ли ты невеста ефрейтора… Чего только там не болтают…

— Если мне еще скажут слово, — закричала девушка, — выбегу на улицу, все село соберу!

— Боже избавь, чтобы такое случилось. Вот беда! Что же будем делать?

— Иди, крестница, иди, Настасия, помни, я здесь, — вмешалась Уца Аниняска, погрозив пальцем мельничихе. — Сделайте так, как хочет девушка. Поезжайте в город, проводите с миром Митрю. Дайте ему, бедному, денег — дорога ведь долгая, тяжелая. Скажите доброе слово, как брату.

— Правда, тетка Уца, правда, тетка Уца, — вздыхала старшая сестра. А Настасия тоненько затянула вполголоса песню и перед зеркальцем, величиной с ладонь, поправила заткнутый за ухо цветок герани.

Тетка Уца поплевала, чтобы уберечь Настасию от сглаза.

— Вот такой и я была в молодости, — вздохнула она, и на глаза ей навернулись слезы.

В следующее воскресенье на базаре в городке собралось множество крестьян со всего уезда и из более дальних мест; одни приехали поездом, другие в телегах. При них не было ни продуктов, ни скота на продажу, а только котомки со съестным и сменой белья. Весть об отправке рекрутов разными путями проникла повсюду.

Один солдат из Малу Сурпат сообщил в казарму ефрейтору, что к нему приехали из дому.

— Уж не брат ли мой, мельник, пожаловал? — с удивленной улыбкой спросил Митря.

— Нет, кое-кто покрасивей, — ответил Тудор Гырля и подмигнул.

Батарея получила увольнение. Для господина фельдфебеля Катарамэ этот праздничный день был днем взимания пошлины, словно для попа на поминках.

— Отправляйтесь, четыре Евангелия вашей теще, подарков вам навезли из ваших имений.

Митря Кокор запыхался, спеша поскорей добраться до базара. Его красивый подарок мог прибыть с мельничихой. Где же они могут быть?

Нигде не видно.

Кто-то слегка потянул его за рукав. Он резко повернулся. Его горящие глаза остановились на Настасии. Косы ее были украшены бумажными цветами, купленными у торговца. Тоненькая, гибкая, она улыбалась, показывая все свои зубки.

— Вещи, что я привезла для тебя, Митря, остались в телеге у крестной.

— Ты приехала с Уцой Аниняской? Где же она?

— У нее со знакомым купцом какие-то дела. Просила пожелать тебе здоровья, коли не успеет повидаться с тобой сама. Она меня к тебе послала.

Митря сжал руку девушки.

— Передай ей от меня большое спасибо. Не за вещи, а за то, что тебя привезла.

— А это я сама приехала, — засмеялась девушка. — Ох, как и переругались все дома! Гицэ хотел меня убить, а потом присмирел. Я тебе все расскажу. Сначала шла речь, что сестра поедет, да вчера вечером схватило у нее поясницу, а Гицэ взбрело в голову, что будет, мол, ревизия на мельнице, ну я и присоседилась на телегу к крестной. Ведь нельзя, чтоб никто не приехал.

— Радость моя приехала.

Она вдруг замолчала и пристально посмотрела

на него. Ее тонкие губы слегка дрожали, карие глаза наполнились слезами. Вокруг толкался базарный люд. Некоторые останавливались и смотрели на них улыбаясь. Митря чувствовал, что это место совсем не для тех слов, которые он хотел сказать.

Он взял Настасию за руку, в которой она держала платок, приготовленный для него: он знал, что будет в далеких краях носить этот платок, пропитанный тоскою и слезами той, что его вышивала. Девушка следовала за ним. Легкая тень неожиданно набежала на ее румяное, загорелое лицо.

Молча шли они к окраине города по улицам, среди цветущих весенних садов. Свернули на дорогу, обсаженную густой акацией, покрытой розовыми гроздьями цветов. Прошли через ворота с надписью большими золотыми буквами: «Аллея вечности». Оба вместе они прочитали тихим голосом это название, лишенное всякого смысла. По аллее они дошли до кладбища. Девушка начала рассказывать о домашних делах. Он слушал ее, ему нравился нежный звук ее певучего голоса. Время от времени они останавливались у какой-нибудь решетки, с которой свисали живые цветы и высохшие венки. Среди кустов в бедном уголке кладбища по временам пробовал

насвистывать молодой дрозд. Вокруг них были солнечный свет и безлюдье.

— Уезжаешь? — произнесла вдруг Настасия дрожащими губами, пристально глядя на него. Она не дала ему даже ответить. — Наши сельские собрались вокруг телеги крестной, горюют. Тут и из других сел сошлись. Совсем мы осиротели, говорят. Увозят наших на чужбину, мы — бедные крестьяне, говорят, нам война не нужна, нечего нам делить ни с кем.

— Это так, да что поделаешь!

— Кому счастье, тот вернется, — печально улыбнулась Настасия.

Митря остановился.

— У меня тоже есть счастье, и я вернусь к нему.

Девушка повеселела, но по лицу ее тихо катились слезы. Она обняла его левой рукой и склонила голову к нему на плечо, поближе к сердцу. Сильно билось это сердце. Она ждала, что ее обнимет его рука. Она ждала первого объятия из тысячи обещанных в открытке, которую носила на груди вместе с цветком чабреца.

И действительно, пришло это счастливое, единственное мгновенье в то время, как кукушка, передразнивая свое имя, пролетела в вышине

над могилами к аллее со странным названием.

Глава десятая
Воинский эшелон все в пути и в пути…

Капрал Костя Флоря был старшим в вагоне, в котором ехал Митря. Вместе с ними было много других товарищей.

— Каждый заботится о своем диване, — сказал Митря.

В вагоне для скота, который правительство предоставило своим «воинам», слова Митри вызвали смех и перелетели в другие вагоны.

«Не растягивайте диванов», то есть не занимайте так много места; «Выбросьте вон диваны», то есть выбросьте солому, на которой спите. «А то они сами убегут», — зло добавлял Митря.

Шутки по поводу бегающих и летающих диванов из вагона капрала дошли и до офицеров.

— Ваши диваны тоже убегут! — говорил Митря при встрече с товарищами из других вагонов. — А на себе и вас вывезут!

Унтер-офицеры приказали обозначить мелом на всех пятидесяти вагонах пункты назначения. Конечно, точное направление никому не было

известно. Но унтеры узнали от господ офицеров, что пунктами назначения были Москва и Сталинград. Грамотеи вывели на серых досках огромными буквами: «Бухарест — Москва», другие — «Бухарест — Сталинград». Нашелся какой-то храбрец, который написал еще крупнее: «Пункт назначения — Сибирь». Этим место бойни хотя бы как-то отдалялось.

А Митря Кокор еще приписал: «Бухарест — Москва, туда и обратно». Эта приписка немедленно была принята всюду. Однажды вечером капрал Флоря стер со своего вагона «туда и обратно».

— Там хочешь остаться? — с усмешкой спросил его Митря.

Капрал посмотрел вокруг, нет ли кого поблизости, и улыбнулся, ничего не ответив.

Полковник Палади, человек седой и серьезный, узнав об этой игре с надписями, нахмурился.

— Надо прекратить эти глупости, — указал он молодым офицерам. — Вы думаете, они стремятся в Москву или Сталинград? Пусть бы у меня так голова болела, как они хотят этого. Есть приказ, вот мы и везем их. Все это так, что греха таить! Знаю я наших крестьян, они себе на уме. В конце концов они правы. Бедняги не имеют никакого

понятия о политике. По крайней мере, по поводу Сибири они просто издеваются. Прикажите стереть надписи.

Приказ был отдан.

— Да и внутри почистить вагоны от дураков и вшей, — шепотом произнес Митря, и его слова были сразу подхвачены всеми.

Мимо больших станций эшелон проходил с патриотическими военными песнями. Потом вагоны мало-помалу умолкали. Новобранцы, как люди себя называли, тоскливо, с каким-то безразличием глядели на зеленые поля.

— Вот оно, наше поле боя, — пашня… — сказал как-то Митря.

Весь вагон капрала покатился со смеху.

— Смеетесь, как дураки, — обиделся Митря.

Товарищи недоуменно посмотрели на него. Они привыкли к тому, что Кокор всегда шутит. Целую неделю ехали они так. На одиноких полустанках делали долгие остановки. Иногда шел дождь и окутывал все мокрой пеленой: она висела над солдатами, как черная тоска над смертниками. Митря дремал в своем углу, рядом с Костей Флорей. Он упрямо старался сосредоточиться, пока перед ним не возникали карие глаза. Тогда он вздыхал и стонал. Все существо его страдало.

Ему было немного стыдно перед капралом.

— Что с тобой, Митря? — спросил однажды Костя.

Митря в ответ сказал только половину правды:

— Эх, брат, думаю я, где теперь учитель, который дал мне в руки букварь и доску. Что он теперь делает? Один только раз видел я его в жизни, а забыть не могу.

— Учитель ждет своей поры, — ответил кузнец.

— Он жив?

— Да, насколько я знаю. А о чем ты еще думаешь?

— Эх, брат, сумасшедшие мысли одолевают меня. Деды наши странствовали туда и сюда, а все же можно было до них палку добросить. Мы же катим на край света — посмотреть, где там конец земной оси. — Товарищи стали прислушиваться к словам Митри. Все ожидали шутки. — Едем, — продолжал Митря, — безо всякого интереса. Деды отправлялись кусок хлеба добывать, а мы едем за смертью.

Капрал нахмурился.

— Тебе государство платит по лее в день, тебе бесплатно предоставляется проезд, одежда и довольствие.

— Не говори об одежде, а то солдат разозлишь.

Товарищи с грустью оглядели свое обмундирование, в которое их облачило государство.

— Эй, солдаты, чего носы повесили? — спросил Флоря.

— Мы веселимся.

Илие Дафинеску, приятель Кокора, добавил:

— Это только Митря вздыхает и печалится.

Солдаты повернулись к Митре Кокору.

— Я думаю, — вздохнул Митря, — о бедняке из одной сказки, который с мешком отправился к господу богу спросить его о своем злосчастье. А я с двумя мешками иду прямо к нечистому.

Солдаты приуныли.

— Митря, должно быть, немножко рехнулся, — шептались они между собой, — говорит не по-людски.

И действительно, Кокор не украшал своих речей пословицами, поговорками и анекдотами, как это делали другие острые на язык солдаты. Слова ефрейтора рождались из самой горечи жизни.

Долго так шел поезд, оставляя за собой огромные пространства, пока не стали появляться опустевшие села. Все было разрушено и выжжено. Ветер доносил смрад пожарищ и трупов.

Собаки блуждали по руинам, снова превращаясь в волков. Поджав хвосты, вытянув вверх морды, они выли, как по покойнику.

Однажды, высунув головы в открытые двери вагона, товарищи Митри дивились на места, где ничего не осталось, кроме стен и амбразур. Когда-то это был город. Уже стемнело, но огней не зажигали. Среди куч мусора, оставшихся от вокзала, стоял низкий дощатый барак и палатки подразделения, охранявшего железную дорогу, которая связывала мир с пустыней и фронтом. Среди укреплений и палаток на бараке зажглись электрические лампочки. То, что было городом, вырисовывалось вдалеке, на фоне грозового неба, словно видение, вставшее из глубины давно позабытых времен.

На маленьких станциях, где оставались запасные пути, поезд простаивал по суткам, чтобы люди могли отдохнуть от отупляющей тряски. Все испытывали какое-то головокружение. Люди сновали вокруг в поисках свежей воды. Другие яростно терлись у колодца или у ручья, обнаженные до пояса, не замечая, что только размазывают паровозную копоть, осевшую на них, как смазка. Из вагонов выбрасывали «диваны» и жгли из них костры. «Читали газеты», то есть снимали

рубашки и внимательно осматривали их у огня.

Однажды после полудня Митря и кузнец забрели на хутор, уцелевший неподалеку в лощинке, где среди многих опустевших домов притаилось и несколько обитаемых. Две коровы паслись на запущенном поле, а с ними несколько тощих поросят; с десяток кур испуганно закудахтали при приближении Митри и Кости и разлетелись в разные стороны. За одним из домов затаилась женщина, прокрадываясь к высокому конопляннику.

Капрал Костя Флоря выкрикнул несколько русских слов. Женщина обернулась к чужим солдатам. Это были не немцы. Она попыталась им улыбнуться. Получилась гримаса: верхних зубов у нее не было.

— Бабушка, были здесь германы?

— Были… — жалобно отвечала она, показывая пальцем на свой рот с выбитыми зубами. — А вы кто будете?

— Мы не немцы, бабушка.

— Так, так… значит, люди… Куда это вы?

— На фронт едем. Румынские солдаты, бабушка.

— Ой, горюшко-горе! — запричитала женщина, охватив голову руками.

Митря почувствовал, как этот крик пронизывает его до глубины души. У капрала на глазах выступили слезы. Неподалеку показалось еще несколько женщин, два старика в зипунах и несколько ребятишек, обутых в опорки.

Кокор перехватил их быстрые, как стрелы, враждебные взгляды. Кое-кто сжимал в руках вилы. Ефрейтор достал из сумки краюху черного хлеба, в то же время открывая пальцем кобуру револьвера. Он разломил хлеб и протянул детишкам. Сначала они хотели бежать, но потом приблизились и протянули слабенькие ручонки со скрюченными пальцами. Один из стариков сделал шаг вперед и дребезжащим голосом спросил по-румынски:

— Вы румыны?

— Да.

Старик повернул вилы зубьями в землю и сказал, мешая румынский язык с русским:

— Ага! Мы были там… были на войне. Тогда — другая война. Теперь германа — волк, германа — гусеница, германа — саранча.

— Что он говорит? — спросил Митря.

— Говорит, что немец — волк, гусеница, саранча, а не человек.

— Но наши сыновья погонят их назад! — про-

должал старик на своем языке, а капрал переводил Митре. — Назад! Назад! У! Как их бьют! У! Как их лупят!

— Немец — капут! — вдруг крикнул другой старик, и его тщедушное тело в зипуне затряслось от радости. — Не ходите дальше. Возвращайтесь-ка домой.

— Господи, бедные вы мои, славные вы мои… — причитала бабушка, идя за ними вслед.

— Смеются они над нами! — пробормотал Митря.

Капрал не ответил. Они пошли обратно на одиноко стоящую станцию. Время от времени они переглядывались, понимая друг друга без слов.

— Ничего не рассказывай ребятам, — предупредил Костя Флоря.

Глава одиннадцатая
...Пока однажды ночью Митря и Флоря не увидели молнии востока

— Придвигайтесь поближе, господа, — обратился после ужина полковник Палади к своим офицерам, поспешно развертывая карту, пока денщики убирали со стола. — Поближе, прошу вас, чтобы вы все могли ознакомиться с общей обстановкой на театре военных действий.

Подобные совещания происходили почти ежедневно. Но в этот вечер полковник казался особенно возбужденным. Более тускло горели свечи. Облака, бегущие с востока, угрожали бурей.

— Впервые у меня был хоть какой-то разговор с немецким офицером, — неожиданно заметил командир, поднимая глаза от карты. — Речь идет о коменданте здешней проклятой станции. Это произошло, как только мы прибыли сюда. Он, прошу вас заметить, пытался внушить мне, что продовольственный склад пуст и мы не можем рассчитывать на положенное довольствие. Мы, мол, не двинемся с места несколько дней, это,

мол, его стесняет, они, мол, должны снабжать составы, двигающиеся изнутри страны. «Я сам не желаю торчать здесь. Дайте скорее приказ об отправлении». — «Не могу, с фронта один за другим прибывают поезда, вы сами могли заметить, что дивизии, вероятно, перегруппировываются». Ответил, называется! Так нервничал я лишь на том проклятом полустанке, где мы перешли на широкую колею. Да простят мне мои слова, но наши друзья немцы смотрят на нас до некоторой степени как на вспомогательные войска.

— До некоторой степени? — выразил вполголоса свое удивление коренастый лейтенант.

Полковник пристально посмотрел на него, то и дело хватаясь правой рукой за то место на столе, где обычно стояла бутылка с коньяком.

— Может быть, вы и правы, Микшуня, — заметил он, кивнув головой. — Дайте мне, пожалуйста, папиросу, из тех, что у вас еще остались из дому.

— С удовольствием, господин полковник.

Офицер протянул своему начальнику серебряный портсигар и зажигалку.

— Благодарю, Микшуня. У меня есть спички. Прошу прощения за невольно вырвавшиеся у меня слова, которые наш товарищ еще больше подчеркнул. Порой и у меня бывают тяжелые

моменты. Когда встречаешься с людьми в этой ужасной пустыне, хочется увидеть улыбку, услышать приветливое слово. Так нет же! У них точность автоматов и абсурдная непреклонность.

— Они станут человечнее, господин полковник, — снова осмелился подать голос Микшуня, подмигнув одним глазом.

— Я понимаю, на что вы намекаете, и не одобряю вас.

Микшуня потупил голову.

— Все же, Микшуня, в ваших словах есть доля правды. С некоторого времени мы отмечаем на карте передвижения войск, которые кажутся странными. Возможно, нам не совсем ясно соотношение сил. После молниеносных продвижений вперед — стратегические отступления.

Офицеры настороженно молчали.

— Несомненно, что никогда в мире, — продолжал полковник, — не было столь хорошо обученной и столь хорошо организованной армии, как немецкая. Однако… — вздохнул он, — мной овладевает тревога, когда я начинаю думать, что…

Он бросил потухшую папиросу и взял другую из портсигара лейтенанта.

— Эта схватка… — он зажег папиросу, — смер-

тельная схватка на тысячи километров, от Балтийского до Черного моря… Миллионные армии… техника, какой никогда не бывало… Авиация, командование… Что еще можно сказать? Но происходит нечто невероятное, и мы не можем этого не заметить. Ведь мы же профессионалы, черт возьми! Мы отдаем себе отчет. Сообщения командования, как ни замаскированы они словесными выкрутасами, свидетельствуют о некоей тенденции к отступлению.

— Только о тенденции? — опять вмешался лейтенант. — А под Ленинградом, под Москвой, где-то на Волге…

— Да. И в том направлении, куда мы едем и никак не можем доехать. В трех решающих пунктах. Не выпьете ли вы, ребята? — добавил он, указывая папиросой на бутылку с коньяком. — Как говорит Катарамэ, дело дрянь! — Полковник криво усмехнулся, обнажая черные зубы. — Но это еще не все. Русские перешли к контратакам, и все более мощным. Мы должны признать, что их продвижение не прекращается. С другой стороны, те пополнения наших союзников, которые направляются на фронт, кажутся мне гораздо более низкими по своим качествам, чем два года тому назад: теперь это зеленая, плохо

обученная молодежь. Что бы вы сказали, если б пришлось сразу бросить в бой вот этот состав, набитый мужичьем? Красиво, не правда ли? В пух и прах их разнесут. Так и с теми мальчиками. Едут с энтузиазмом, распевают во всю глотку, а после плачут и зовут «муттерхен{9}». А из самых глубин востока, господа, движутся войска, и войска прекрасно экипированные, прекрасно обученные, будто и не они отступали. Но это те же самые, а за ними появляются другие, их еще больше, тысячи, миллионы. Авиация, танки, моторизованная артиллерия, «катюши» и не знаю, что там еще. Чего только у них нет, господа! По совести скажу вам — как старый военный, еще в молодости проделавший кампанию вместе с русскими, — я не могу не восхищаться ими. Меня весьма беспокоит, что они все продвигаются и продвигаются, одерживая победу за победой. Они разбили Наполеона. И вот, оказывается, Германия тоже проигрывает партию.

Полковник закурил еще папиросу и налил еще рюмку коньяку, последовавшую за многими другими. Жесты его становились все оживленнее, сиплый голос — все громче.

{9} Комментарии: 9
Муттерхен — мамочка *(нем.).*

В тот вечер ефрейтор Думитру Кокор стоял в первую смену на карауле у офицерского вагона вместе с Илие Дафинеску: Митря с одной стороны, Дафинеску — с другой. Окна были закрыты занавесками, «чтобы солдатня не видела, что делает начальство», как объясняли себе сами солдаты. Полковник сидел между лампой и окном, так что Митря видел на занавеске его черную и слегка увеличенную тень. Вокруг Митри все было тихо и безлюдно, он остановился у окна и стал прислушиваться. Иногда до него доносились обрывки фраз. Он наблюдал за движущейся тенью полковника. Левой рукой тот подносил ко рту папиросу с длинным мундштуком, а правой время от времени опрокидывал рюмку.

«Страсть как ему нравится это питье, что коньяком зовут, — думал Митря. — Стакан большой, а наливает коньяк понемногу. Зато часто наливает! Девять раз подымал правую руку».

Митря смеялся в темноте сам с собою. Ему вспомнилось, что говорил Катарамэ о русских: «Как же это мы с вами, москали, договаривались? То говорили, что у вас контрреволюция началась, то оружия нету… а теперь-то все у вас есть — замок святого Петра от райских врат и тот, верно, есть. Славно отделали Наполеона, не хуже

отделают и Гитлера».

Была безлунная ночь. Далеко на востоке сгрудились тучи, застыв, словно недвижные горы.

В ночной тишине Кокор дослушал до конца речь, которую произносил в вагоне полковник. Пришло время сменяться. Разводящий капрал привел на его место другого. Ефрейтор передал ему пароль и ушел. Теперь он мог спать до самого рассвета.

Его телячий вагон был шестым с конца. Около него Митря наткнулся на капрала Флорю, поджидавшего его. Отойдя немного к хвосту состава, Митря вполголоса рассказал капралу все, что видел и слышал. Зевая, он прибавил:

— Да, видать, и господа офицеры думают про войну вроде нашего фельдфебеля.

Кузнец ничего не сказал на это. Он только спросил:

— Спать хочется, Митря?

— Хочется, но не очень. А что?

— Коли хочется спать, не ходи в вагон. Уж больно там душно, вонью так и шибает. Выйдешь на минутку, а потом и войти обратно не можешь. Я снаружи устроился. Потому и тебя поджидал. Я тут нашел шагах в пятидесяти копну сена. Привалимся к ней спиной и хорошо уснем. Ночь уже

на исходе. Через три часа светать начнет.

Они добрались до копны и в темноте умостились на сене. Прошло некоторое время, кузнец спросил:

— А о политиках наших не говорили?

— О ком это? Об Антонеску?

— Да.

— О нем не говорили.

— Конечно, — заметил кузнец, — за шкуру свою боятся.

В тишине, сменившей этот ленивый обмен словами, вдруг на востоке в черной туче зажегся огромный красный глаз. Зажегся и потух, как будто подмигнул. Митре показалось, что злой дух степи погрозил бедным людям, заплутавшимся в этих местах.

— Видел?

— Видел, — тихо ответил кузнец. — Там гроза. Далеко-далеко.

Бескрайняя степь застыла вокруг них как мертвая. Однако что-то тонко и дробно звенело в неподвижной тиши. Мириады насекомых пиликали жесткими надкрыльями, разыскивая друг друга и справляя свадьбы среди травы. «Так же много и тех, кто идет на нас», — думал Митря.

Еще раз сверкнул глаз злого духа. Черная туча

начала тихо двигаться, принимая неопределенные очертания, пока не превратилась в крылатого коня, устремившегося в неудержимом прыжке. Она вытянулась и вскоре исчезла в южной стороне.

Восток посветлел, степной шелест утих. Из безграничной дали послышалось что-то вроде свиста. Вскоре после этого над безлюдьем, в котором бодрствовали оба друга, пронеслось холодное дуновенье — отдаленное движенье бури. Это длилось минут десять и прошло. Снова воцарилась тишина.

Кокор насторожился, как, бывало, в Дрофах, когда нес ночную стражу. Степной шелест больше не возобновлялся.

— Полное молчанье, — пробормотал кузнец Флоря.

Митря прошептал:

— Что-то теперь наши дома поделывают?

— Гляди! — таким же приглушенным голосом прервал его капрал.

Митря хотел задать вопрос, но застыл от удивления: там, вдалеке, откуда промчался грозовой конь, гнались друг за другом огненные сполохи. Не слышно было ни звука, только видна была вспышка за вспышкой.

Оба друга молчали с бьющимися сердцами. Там был фронт, куда направлялись солдаты.

Глава двенадцатая
Конец многих жизней и горестей

Помимо прочих хитроумных измышлений, этот воинский эшелон № 404, казалось, придумал для себя особый рекорд: никогда не доехать до места назначения. Он свистел, дымил, стучал колесами, пыхтел, останавливался, снова двигался и снова останавливался. Может быть, он выполнял желание многих из тех, кого вез, или желание прокоптившихся машинистов, которые, лишь только доезжали до какой-нибудь заброшенной станции, начинали, как говорил Митря, лаяться между собой. К этому прибавлялось еще одно удивительное явление: казалось, что и сам горизонт отступает, что все отдаляется этот безграничный восток. И еще одно: время от времени на воинский эшелон № 404 налетали бури и вихри. Не такие, как у нас. У нас, объяснял Кокор, бури — это расшалившиеся детишки, а здесь — скопище старых ведьм. В один миг закружат человека и бросят его на землю, даже поезд норовят столкнуть с рельсов:

— Идите-ка вы, эй, идите-ка вы, люди, назад,

откуда пришли! Что вам здесь нужно?

— Смилостивься, баба-яга, — увещевал Кокор, — черта нам нужно. Иду я с подарком: вот два мешка.

— Да они пустые, Митря, — смеялись солдаты.

— Ну да, вы сожрали все, когда я храпел. Но они опять наполнились тем, чего ищем мы, дураки, в этих местах. Вот я и везу в подарок дьяволу два мешка человеческой глупости.

Наконец в хмурый полдень на остановке появился представитель румынской дивизии этого участка. Те из солдат, кто находился поближе к вагону начальства, хорошо слышали, что офицер этот — делегат, но не поняли, какой дивизии и какого сектора.

Прибывший офицер был небольшого роста, смуглый, заросший бородой, в каске, в слишком длинной шинели, затянутой ремнем, и без всяких знаков различия. С полковником и другими офицерами он держался несколько высокомерно, как человек, уже побывавший под огнем.

— Вид-то у него потрепанный… — заметил Митря. — Завтра и мы будем такими же, как он. Эх, судьба наша горькая!

Стало известно, что полк переформировывается. За пять недель, то есть с той самой поры, как

солдаты выехали с родины, он три раза менял местоположение. И двигался он не вперед, а только назад, — как будто ловил свой собственный хвост.

— Стратегический отход, — пояснил офицер-делегат с такой важностью, словно сам придумал эту формулу.

— Лейтенант Попеску, будем говорить серьезно, — заметил ему полковник Палади, пристально глядя на него.

Микшуня положил ему руку на плечо:

— Эй, Нуцу, мы с тобой товарищи по выпуску, и я знаю тебя как умного парня.

Лейтенант Нуцу Попеску, в своей длинной шинели, еще слегка похорохорился, а потом признал себя побежденным и улыбнулся:

— Привезли немножко коньяку?

— Привезли, — заверил его Микшуня. — И игральные карты.

— С ними нам нечего делать! — безнадежно махнул рукой Нуцу. — Нет времени: все переезжаем. Теперь вам предстоит сразу же на своих повозках и наших автомобилях перевезти все имущество в лагерь. Мы расположились неподалеку. Вон там, на краю села, у перекрестка дорог. Машин — целый водоворот… Укрепляют пози-

ции. Вчера «советы» в сорока километрах отсюда предприняли атаку. Посмотрите на карту, как обстоит дело. Атака отбита.

Полковник остановил его:

— Значит, немедленно разгружать все наше имущество?

— Так точно, господин полковник, немедленно. Ведь мы еще вчера получили сообщение о вашем прибытии и все подготовили. Это было приятное занятие, мы все радовались.

— Тогда можно приступать.

— Так точно, господин полковник.

— Микшуня, распорядитесь!

Микшуня отдал приказание одними глазами, так как все унтер-офицеры были налицо. Столпившиеся вокруг солдаты нехотя расходились.

— А товарищи… что поделывают? — обратился Микшуня к лейтенанту Нуцу.

— Из нас всего только восемь осталось, Микшуня.

Глаза Нуцу затуманились непритворной печалью. Он опустил голову, еще недавно так надменно закинутую назад.

— Что делают Чобану и Параскивеску? — спросил тоненький офицерик, прозванный Дамочкой.

— Эх, Дамочка, — вздохнул Нуцу, — Чобану и Параскивеску приказали долго жить.

Веки Дамочки задрожали над его красивыми женскими глазами.

— Даже поверить трудно. Мы — двоюродные братья, но жили как родные.

— Придется поверить, Дамочка. Погибли и другие: Порумбеску, Лаксатив, Кроитору… Это был мой непримиримый враг, потому что я его регулярно обыгрывал в карты. Жалко его, он заменял мне доходное именьице. И Корбицэ… И Иован, который декламировал нам балладу про Иована Иоргована, утверждая, что ведет свой род от этого народного героя. Когда он отдавал богу душу, он повторил слова героя: «Дети мои, я отправляюсь к праотцам».

— А Панакоадэ?

— Панакоадэ цел.

Младший лейтенант Дамочка повеселел, но только на мгновенье.

Солнце скрылось на горизонте в легких розовых облачках, когда солдаты со всем имуществом направились к «населенному пункту Сомотрец». Это уже не было селом, там не осталось никого из местных жителей — из тех, кто обрабатывал поля, ухаживал за садами, выращивал скот. Все они

словно улетели на луну или провалились сквозь землю. Сомотрец был теперь просто пунктом, куда был послан на переформирование разбитый полк. Полк растерял половину своего вооружения, лошади разбежались, офицеров осталось всего несколько человек, прибывшее пополнение, хотя и состояло из новобранцев очередного призыва, не могло заменить исчезнувшей воинской части.

— Особенно «мужичье» гибло или пропадало без вести, — пояснил, улыбаясь, Нуцу.

Бывшее село оказалось чистым и благоустроенным. Несмотря на суматоху, полк, отведенный на отдых и переформирование, с особенным нетерпением ожидал вестей с родины.

Катарамэ разглагольствовал:

— Какие там вести с родины? Никаких нет вестей. Там все хорошо, в бок тебе тормоза от колесницы Ильи-пророка! Камилавка бога Саваофа тебе на голову! Рад видеть вас здоровыми. Слышал, что осталось вас всего двести тридцать.

— Со мной двести тридцать один, — жалобно произнес Дэнилэ, портной из батареи Катарамэ.

— А, Дэнилэ Рошу. И ты здесь!

— Здесь, господин фельдфебель. Держусь за жизнь зубами. Да, здорово нас поубавилось.

— Э, что там, вот теперь мы приехали, чтобы тоже поубавиться. Ну как, всего хватает?

— Хватает!

— Я вот привез немножко кукурузной муки.

Старые приятели шумно радовались встрече, награждая друг друга тумаками.

Кокор обратил внимание на то, как встретились командиры. В хорошем расположении духа был, как всегда, полковник Чаушу — сухой, загорелый, бритый, с белесо-голубоватыми, цвета бутылочного стекла, глазами. Он считался старшим, так как звание полковника получил раньше, чем Палади. После того как они обнялись, Чаушу слегка прикоснулся рукой к самой округлой части тела Палади.

— Это спадет…

Кокор прикинул про себя: «Мы хлопаем друг друга по плечу, потому что на наши плечи ложится тяжесть. А начальство хлопает себя по брюху».

— Наконец, дорогой Палади, завтра я тебе передаю полк. В первый раз за полтора года получил отпуск на месяц. Я совсем закрутился. Поеду с моим двоюродным братом, генералом. Тебе повезло: полк на отдыхе и все время отходит назад.

— Наступали для того, чтобы отходить… — прошептал Кокор солдатам, стоявшим рядом.

Сумерки сгустились над военной частью, хлопотливо устраивавшейся на ночлег. Света не зажигали, костров не раскладывали. Вновь прибывшие, как и старые солдаты, грызли сухари в своих укрытиях.

— Фронт недалеко, — поясняли Кокору «старички». — В этих местах стоит появиться огоньку, как сейчас же сверху налетают жар-птицы и начинают сбрасывать яйца. Такой треск подымается, и так смердят они, что страх берет. Хватит с нас!

«Старички», казалось, хвастали подобными злоключениями, и артиллерийскими налетами, и советскими танками. Новобранцы слушали их почтительно, с уважением.

— Слыхали мы, что они ловят нас и глотки режут.

— Кто? Эх ты, молокосос! Москали? Брехня. Такие же люди, как и мы. Вы больше опасайтесь приятелей наших, немцев. Как увидят, что ты ослаб или отошел на полшага по нужде — ведь люди же мы, — тут они или штыком пырнут, или из пулемета скосят. Крепкие вояки.

— А они не отступают?

— Ну, как не отступить? Бывает такое, что никому не удержаться. А то бывает, налетит на нас змей страшенный…

Кокор слушал, и ему не хотелось спать. Немного погодя он и кузнец поднялись и отправились на поиски укромного местечка, где хорошо было бы посидеть в тишине и перемолвиться словечком о своем. Они долго бродили и не находили ничего, пока не набрели на воронку от снаряда. В зарослях бурьяна ночной воздух показался им потеплее. Они легли на спину и покрылись шинелями. Обменялись несколькими словами. Задремали.

Проснулись они уже довольно поздно, повернулись друг к другу лицом и замерли, напрягая слух. Слышались пушечные выстрелы, словно били в глухой барабан, и не так уж далеко. Затем на некоторое время все смолкло. Оба приятеля вдыхали прелый запах травы и уже собирались опять погрузиться в сон среди ночной прохлады, как вдруг краешком глаза приметили на востоке зеленые ракеты, и снова началась канонада с непрерывным грохотом, — они чувствовали, как в яме под ними дрожала земля.

Прошло четверть часа, час. Им казалось, что, возникнув где-то в глубине, пронесся над ними прерывистый вой, чудилось, что под равнодушным звездным небосводом сжимается от боли сердце самой земли.

Они поспешно поднялись и направились в расположение своей части. Все подразделение проснулось и высыпало из укрытий. Событие обсуждалось со страхом. Передавали, будто бы полковник Чаушу, смеясь, заметил:

— Не бойтесь, их немцы удержат.

Тем не менее он все бродил во тьме, время от времени останавливался, вглядывался в даль, прислушивался.

— Что он слышит, то и мы слышим, — пробурчал один из «старичков».

После первой паузы артиллерия большевиков приблизилась.

Целых три часа нервы у людей были болезненно напряжены. Сотрясенье земли и отдаленный гул не прекращались. Да, несомненно, «вселенский ужас», как это называли новобранцы, все нарастал и приближался к соседним секторам. Через некоторое время Митря Кокор почувствовал, что у него дрожат колени. Он посмотрел на свои ноги, как на чьи-то чужие, усмехнулся, хрипло выругался и опустился на землю.

Тут он узнал лица старых солдат, находившихся вокруг, и застыдился своей слабости. Где же может быть капрал Флоря?

— Ты тут?

— Тут.

Оба произнесли эти слова, лязгая зубами. «Старички» смотрели на них молча и серьезно, они ждали, а время словно умерло, не двигалось вперед. Порой они вздыхали, их слух был наполнен тем, что происходило в грозной дали, но подступало все ближе и ближе.

Занималась заря, когда неожиданно на перекрестке дорог показались первые грузовики с людьми. Это были люди, гонимые смертоносной бурей, взвихренным ужасом.

— Опять меняем позиции, — пробормотал стоявший рядом бывалый солдат.

Митря схватил его за руку.

— Немцы отступают?

— А то, может, наступают? Сам, что ли, не видишь?

— Эх, а мы, новобранцы, только что прибыли!

Он один только и рассмеялся над этой бессмыслицей. Однако все, что ни происходило, как будто было устроено для него.

Новобранцы задвигались и засуетились, не ожидая приказа. Лишь потом резко зазвучали распоряжения офицеров. Никто их не слушал. Под неумолкаемый гул орудий, под шум грузовиков и легковых машин, которые теснились

тремя плотными колоннами, полк тоже собирал свои пожитки, торопливо готовясь к отходу. Как это часто бывает во время паники, один солдат предстал перед своим подразделением с метлой в руках, другой с куском хлеба, третий верхом на лошади, без седла и узды.

— Посмотри-ка, эй, на Александра Македонского!

Митря вдруг бросился к ним, словно готовясь поднять их на рога. Он еще не сошел с ума, хотя лицо его все перекосилось.

— Эй, новобранцы! — кричал он. — Подымайсь, пускай каждый сам спустит с себя шкуру и отдаст ее!

Его больной смех передался другим.

Он с ненавистью продолжал бормотать словно про себя:

— Чтобы расплатиться уже за все…

Услышав смех «старичков», полковник Палади, в двух шагах от которого следовал Чаушу, удивленно остановился.

— Где мой шофер? — раздраженно спросил его спутник. — Чего хохочете, скоты?

Люди разбежались кто куда.

— Умеешь править? — заорал Чаушу на Митрю.

— Только телегой с волами, господин полковник.

— Тогда чего стоишь и смотришь на меня, идиот? Бегом марш. Немедленно пришли мне сюда шофера Визиреску.

Кокор отправился искать неизвестно кого: он в тот же миг забыл названную фамилию. Все же скоро он пришел в себя и сообразил, что люди в суматохе бегут к развилке дорог. Фургон, запряженный лошадьми, два полковых грузовика и легковые машины командиров ждали случая втиснуться в поток. Некоторые бросали все, что тащили с собою, и висли гроздьями на машинах. Но шоссе больше не могло вместить густую вереницу машин. Она была похожа на гигантскую гусеницу с железными суставами, которая едва ползла, извиваясь. Воздух наполнился грозным рокотом самолетов.

Почти рядом Кокор увидел немцев. Нельзя было сказать, что они не люди. Но теперь это были какие-то обезумевшие, словно расклеившиеся существа. Самолеты пикировали на колонну беглецов. Трещали пулеметы. «Поливают садовники грядки...» Пролетали, взмывали ввысь, потом снова возвращались поливать. Из грузовиков пачками начали выскакивать солдаты, убегая

куда глаза глядят.

Самолеты улетели. В опустевшие грузовые машины бросились «старички» и новобранцы, товарищи Митри. Но беглецы возвращались. В один миг на глазах Митри Кокора разыгралось побоище. Те, кто убежал в поле, нападали на тех, кто занял их места. Немедленно были пущены в ход пистолеты. Все же наиболее напористые новобранцы продолжали лезть. Митря увидел своих в десяти шагах и между ними фельдфебеля Катарамэ, продвигавшегося вперед с сиплым ревом. Он ухватился за борт грузовика, где намеревался захватить место. Один из тех, кто был в кузове, ударил тесаком и отрубил ему кисть руки. «Грузовик твоей матери!» — заревел Катарамэ, потрясая кровавым обрубком. Правой, здоровой рукой он схватил автомат. Но противники тут же его изрешетили.

— Убили! — закричал Кокор.

Катарамэ, свалившись в сторону, корчился на обочине дороги. Новобранцы бросились на приступ через его тело, трепещущее в конвульсиях. Тесаками, пистолетами, автоматами те, что были в грузовиках, отбили нападение.

Три больших самолета появились с той стороны, куда устремлялась колонна. Снова суматоха

и смятение, снова остановка, снова все, как саранча, устремились в поле безумными скачками. С двухсотметровой высоты советские летчики метали бомбы. При первом же грохоте взрыва, не похожем ни на что земное, Митря упал ничком. При втором он прижался как можно крепче к «матушке всех нас, грешных», как бормотал он, крестясь, и в то же время ощутил, что лицо его все в крови. Он чувствовал ее запах, она душила его.

— Эй, братишка!

Это звал кузнец.

Митря поднял голову и увидел, как судорожно бился Флоря. Кровь хлестала у него через голенище, Митря положил руку на раненую ногу товарища: она была неестественно согнута ниже колена и дергалась, как будто могла двигаться сама по себе.

Грохоты и взрывы, грохоты и взрывы… Митря больше не остерегался. Пришел его последний час — это было ясно. Он добрался до ада со своими двумя мешками, набитыми глупостью. Микшуня скалил навстречу ему зубы, лежа на животе, но повернув лицо в сторону. Погиб, значит, и господин лейтенант Микшуня! Подпрыгнул, схватившись обеими руками за живот, Илие Дафинеску; потом упал на землю, извиваясь, как

червяк, и затих.

«И я умру, — вздохнул Кокор, — так-то оно и лучше».

Полковник Палади стоял бледный, прислонившись к разбитому, искалеченному грузовику. Он облокотился на борт, подперев голову рукой. «Это наш грузовик. Господин полковник Палади как будто позирует фотографу».

Митря начал считать убитых, но сбился со счета. Грузовики, которые немцы обороняли тесаками и пулями от натиска рекрутов, превратились в кучу больших и маленьких кусков железа, дерева, человеческого мяса. В этой мясорубке исчезли и те, кто сначала отрубил руку фельдфебелю Катарамэ, а потом застрелил его.

— Флоря, это и лучше, что с тобой так случилось, — обратился Кокор с ласковой шуткой к своему товарищу, — если спасешься, по крайней мере, нога от ревматизма страдать не будет.

Но кузнец потерял сознание.

Когда в следующее мгновенье Митря Кокор поднял глаза, он увидел, как через поле двигались какие-то серые громады. Танки! Вдруг все, кто еще мог передвигаться среди вереницы разбитых грузовиков или разбежались по полю, бросились к красному флажку советской командирской

машины.

— Знают немцы порядок… — удивился Митря.

Он тоже бросил ремень с пистолетом, что делали, как он заметил, все подходившие к танкам. Люди становились во фронт и поднимали руки. Он тоже поднял руки, но никто не обратил на него внимания.

Тот же самый непрерывный грохот вдали. Тот же гул и вой самолетов здесь. В степи мелькали другие танки, сгонявшие в загон горизонта новые стада.

«Много народу погибло. Но много и осталось… Может, и нам пустят пулю в висок, как и раненым».

Умрет он в солнечный день. Вот такой же была и степь в Дрофах, только тихая и мирная, какой больше никогда не будет, потому что все кончилось.

Когда подошли санитары, чтобы поднять раненого кузнеца, они застали Митрю Кокора в слезах.

— Что с тобой? Ты тоже ранен? — спросили они по-русски.

Митря понял. Он показал на кузнеца.

— Я ньет болнав. Это мой друг.

— Хорошо, хорошо, — сказали они, похлопав

его по спине. — Иди, становись в колонну с пленными, — приказали ему потом.

Кузнец открыл глаза. И, уходя, Митря почувствовал, как на сердце его потеплело.

Глава тринадцатая
Митря смотрит, вникает и учится

«Я опорожнил мешки от глупости и добыл крупицу разума».

Так хотел бы начать Кокор письмо к той, что была далеко, в Малу Сурпат, у самых Дроф.

«То, что я думал о стране, где нахожусь, и о людях, которые в ней живут, все хранилось в мешках. Теперь я увидел правду, уверился, что труженики, такие же, как и мы, живут без помещиков. Были и здесь хозяева вроде Трехносого, но народная революция смела их. Не бойся этих слов, потому что на деле, а не на словах будет это и у нас. И бедняки из Малу Сурпат, такие же, как мы с тобой, займут запретную землю. Я хочу увидеть, как дед Тригля обретет безбедную старость, а его Кица отдохнет хоть часок».

Митря не мог послать это письмо, потому что был в плену в одном из лагерей и еще не имелось разрешенья на письма, как сказал ему кто-то из товарищей, старых военнопленных, которые знали больше его и даже говорили по-русски. Нужно и ему выучиться, и как можно скорей!

Кроме того, что еще не была дозволена переписка, дела на родине и в Малу Сурпат шли еще по-старому, ведь война не кончилась. Советские войска мощно пробивались вперед и громили немцев, но еще не вырвали родину из немецких лап.

И еще одно — ведь всего-то не уместишь на почтовой открытке величиной с ладонь.

«Перво-наперво, Настасия, знай, что с тех пор, как я здесь, я понял, что люблю тебя».

Впрочем, она знает это с той поры, когда кукушка куковала им про весну среди цветущей акации.

Многое с тех пор произошло!

«Подошел ко мне какой-то русский, Настасия, и приказал предоставить ему заботу о Флоре, который лежал у меня на руках с перебитой ногой, а самому становиться в ряд с другими пленными.

Седой такой, брови белесые, глаза голубые, как бусинки. Он хлопнул меня по спине и улыбнулся, отдавая приказанье.

Когда мы шли, я сказал ему, что я румын.

— Да. Хорошо! — ответил он по-русски.

Он меня понял.

Я пошел и присоединился к нашим. Немцы отдельно, наши отдельно. Только потом я опом-

нился, как же разыскать того седого солдата, который позаботился о моем друге Флоре. Но возвратиться назад я уже не мог, а из наших его никто не приметил. Кто он, как его зовут… Советские не понимали, о чем я беспокоюсь. Потом смеялись, когда толмач объяснил, что мне нужно.

— Не беспокойся, приятеля твоего отвезли в госпиталь. Поправится.

— А я хочу знать, кто этот седой санитар, который поднял его.

— Зачем тебе знать, может, больше его никогда и не увидишь! Это наш «товарищ».

За первые шесть месяцев в лагере Митря Кокор подружился с двумя советскими солдатами, один был Василий Пиструга из Могилева, другой — Митя Караганов из Костромы.



М. Садовяну

От Пиструги, бойкого парня, невысокого и смуглого, Митря довольно легко научился по-русски. В это же самое время стал обучать его агрономии Митя Караганов. Это был большой, спокойный и серьезный мужчина, хотя лет ему было столько же, сколько и Кокору. Он все рассказывал Митре, как живут крестьяне в колхозе у него дома. Говорил он размеренно, пристально глядя на своего подопечного.

До поздней осени, пока держалась хорошая погода, военнопленные помогали укреплять дубовыми сваями земляную плотину, которая сдерживала воду небольшой речушки. Речушка превратилась теперь в озеро, и вода с тихим журчанием процеживалась сквозь водосброс, хорошо укрепленный цепями и запорами. Долина поднималась волнистыми террасами, усаженными плодовыми деревьями. В начале долины находилось село. Бревенчатые избы были покрыты камышом, большие окна украшены зелеными ставнями. Митря смотрел издалека на это село, и оно ему нравилось.

Костромич Митя Караганов рассказал ему, что в этом село люди уже одиннадцать лет живут

колхозом, выращивают плоды и овощи. Воду, нужную для садов, качают из озера. А по другой стороне, у плотины, вода, устремляясь на лоток, вращает турбину. Мельница работает без передышки и мелет споро. Турбина дает электричество и для освещения, и для маленькой мастерской сельскохозяйственных орудий. Кроме того, колхозные столяры изготовляют в большом количестве оконные рамы, столы и стулья.

Грабли и вилы, объяснял ему Караганов, отправляют в горы, где люди занимаются сенокосом: у них там есть молочнотоварные фермы, маслозавод и сыроварня. А оконные коробки и рамы, столы и стулья везут прямо в пустыни Казахстана, туда, за Каспий, к Аральскому морю, где начали строиться дома и села. В тех местах кочевники тысячелетиями жили только в кибитках, не жили, а, скорее, страдали от голода и жажды, гоняя стада с места на место по пастбищам. Часто они добывали себе пропитанье набегами. Было там лишь два-три жалких селенья с саманными домами, где жили их ханы, собиравшие дань с кочевников. «Хозяин — бедняк, пастух — бедняк», — говорили они. И вот спустя тысячи лет большевики научили кочевников проводить воду по оросительным каналам в пустыню, а

кочевники-пастухи стали заниматься сельским хозяйством. Столица их республики теперь цветущий сад. По обеим сторонам улиц текут арыки, питающие ряды плодовых деревьев. В новых селах есть школы, есть врачи и другие специалисты. Изменилась жизнь в Казахстане.

Вот какие рассказы слушал Митря Кокор в долгие зимние вечера.

Как-то раз Писпруга спросил Кокора, улыбаясь:

— Ты веришь, парень, тому, что говорит Караганов?

— Верю, — отвечал Кокор. — Ведь я верил даже той лжи, которую распускали у нас, будто у русских люди мрут от голода. А как не поверить тому, что видишь своими глазами?

— Что ты видел своими глазами? — смеялся Писпруга. — Разве был ты в казахских степях? Разве был у горцев-скотоводов?

— Не был, зато вижу то, что есть здесь.

— Тебе нравятся избы с зелеными ставнями?

— Слушай, Василий, не испытывай меня. В моей стране я видел много горя и страданий. Ту нищету, что когда-то была здесь, у Аральского моря, я видел и сам испытал у нас в Хаджиу, где ханствует Кристя, прозванный Трехносым. Теперь скажи: когда была построена эта плотина и

образовалось озеро?

— Не так давно, лет тринадцать — четырнадцать тому назад.

— Это видно. Видно, что и яблоневые сады молоды, в том же возрасте, что и озеро. Село это давнее, а дома новые, стоят в линию. Мельница, мастерские, электрический свет — все это, я так скажу, родилось от озера, ну а до того, как была построена плотина, разве был тут рай земной?

На такой вопрос Пиструга, по своей привычке, шумно расхохотался.

— По правде сказать, не совсем рай!

— Я понимаю, что для бедняков была здесь пустошь, товарищ Пиструга, как у нас Дрофы.

Митя Караганов сдержанно улыбнулся и церемонно сказал украинцу:

— Василий Иванович, Кокор был твоим учеником, но ты его как следует не узнал. А я понял, с кем имею дело, и поэтому все ему рассказываю.

— Извини, Дмитрий Матвеевич, — ответил Пиструга, — насколько я понимаю, ты хочешь сделать политика из этого придунайского крестьянина.

— Конечно, хочу.

— А его ты спрашивал, хочет ли он сам?

На шутку украинца Кокор ответил усмешкой, а

уже потом в серьезном тоне сказал:

— Василий Иванович, с тех пор как я здесь, я понял еще и другое. Хозяева наши до сих пор ограждали нас от всяких мыслей о политике. Нас заставляли думать о будущей жизни и духовных благах на том свете и во веки веков, аминь. Сами же господа занимались своей политикой на этом свете.

Караганов пробормотал:

Загривок тигра жирным стал,
Ведь тигр один все пожирал…

— Вот именно, — продолжал Кокор. — Так что теперь мы, бедняки, тоже займемся нашей политикой на этом свете и в этой жизни. Знаю, что не нравится это господам, потому что опасно для них. Да что поделать! Когда придет время, я принесу эту опасность в Малу Сурпат.

— Тебя упрячут в тюрьму, и Тася будет плакать.

— Может, упрячут, а может, и нет, если победа будет на нашей стороне.

— На чьей это стороне? Не понимаю.

— Ты, Василий Иванович, знаешь, о чем я хочу сказать. Что произошло здесь, в России, произойдет и у меня на родине. Поднимутся рабы, и падут

хозяева. Был у меня друг, он кое-чему научил меня. Да у меня и у самого есть глаза и уши. С тех пор как я здесь, я смотрю, слушаю, прикидываю, что к чему.

Оба русских пожали ему руку.

— Послушай, Василий Иванович, — сказал в заключение Караганов. — Да ведь наш крестьянин с Дуная — настоящий политик, и это меня очень радует.

«Дни за днями проходят, — вздыхал Митря Кокор, когда оставался один, — и недели бегут за неделями. Хоть бы весточку получить от кого-нибудь».

Пиструга и Караганов уехали из лагеря.

В часы отдыха Кокор часто молчал, углубившись в свои думы. В комнате, где стояла его койка, шум постепенно стихал, и перед полузакрытыми глазами Митри появлялся образ той, о которой он тосковал. «Вот видится мне эта девушка, улыбается мне, и сердце мое должно бы смягчиться, — размышлял он. — А не смягчается! Шипы ненависти раздирают его. Не могу смириться, не могу быть с ней счастливым, пока не отплачу тем, кто наполнил меня этой жгучей ненавистью и горечью».

Зима была снежная, снег лежал огромными

сугробами. По ночам, при полной луне, Митря с одним или двумя товарищами выходил на озеро смотреть на выдр, как те перебегали, извиваясь, от проруби к проруби. Звездный воздух был прозрачен, как хрусталь, в нем ясно звучали шепоты, шаги, крик ночной птицы. Мороз резал словно бритвой, будто раскаленной проволокой лез в ноздри. Зима в Дрофах вспоминалась как веселая игра на ледяной горке. Здешняя зима — это огромные мерзлые пространства и бураны, которые грозят гибелью всему живому, от мелких букашек до зверя и человека. Зверь ждет теплых дней, зарывшись в свое логово под снегом. А человек противостоит зиме упрямо и сурово — это больше всего поразило Митрю.

Однажды в воскресенье, часа в три, пленные вышли из лагерной столовой и разошлись по своим баракам. Прежде чем пойти к себе, Митря остановился на минуту посмотреть на тройку лошадей, запряженную в сани. Морозный вихрь промчался по дороге, и Митря спрятал лицо от снежного облака в высокий ворот полушубка.

Он отряхивал от снега валенки и полушубок в сенях седьмого барака, самого последнего в ряду, как вдруг вошел буковинец Георге Шерпе и сказал ему, что его вызывают в канцелярию,

к капитану.

Митря вздрогнул. Сердце радостно забилось в груди.

— Верно, приказ о перемещении, — предположил Шерпе.

— А других тоже звали?

— Не слыхал.

— Наверно, это тот, что в санях приехал, здоровенный, словно печка!

— Я его не видал.

— Кто знает… — покачал головой Митря с внезапной тревогой.

Он надел баранью шапку, запахнул полушубок и снова вышел. Снег ярко поблескивал при заходящем солнце. Дойдя до канцелярии, Митря заметил, что тяжело дышит. Он постоял некоторое время в «калидоре», как называлась застекленная терраса при канцелярии. Слышны были голоса. Митря узнал баритон капитана Баранты, сибиряка-инвалида. У него была деревянная нога, которой он любил щеголять. Он всегда стучал ею в двери бараков, когда делал обход. Капитан носил огромные усы, которые с важностью подкручивал, — из-за них военнопленные румыны прозвали его «Буденным».

Дежурный подкидывал дрова в огромную печь,

выходившую в другую комнату. Закрыв чугунную дверцу, он выпрямился и, казалось, удивился, что вошедший стоит и молчит.

— Меня вызвал капитан, — пояснил Кокор.

— Ага! Да.

Кокор продолжал стоять на месте.

— Входи, приятель… Если сам откроешь дверь, премного меня обяжешь.

Дежурный тоже был сибиряк, приехавший вместе с капитаном Барантой с самого Енисея. У сибиряка не было руки, вместо нее — протез с крючком. Этим крючком он закрыл дверцу печки, потом крючок исчез в длинном рукаве шинели. Приветливо улыбаясь, он вторично, движеньем здоровой руки, пригласил Митрю войти.

— Пожалуйста.

Митря вошел. Конечно, ничего плохого быть не могло: виноватым он себя ни в чем не чувствовал; но и время освобождения еще не подошло. «Буденный» оживленно что-то говорил своим приятным голосом, — может быть, спрашивал о друзьях у того, кто сидел спиной к двери. «Буденный» стоял, другой сидел на деревянной табуретке, шапка и шуба были брошены рядом с ним.

Баранта стукнул протезом об пол и подмигнул,

тот, другой, резко повернулся.

Митря тут же узнал его. Это был тот самый человек с белесыми бровями, что подобрал Флорю, а ему приказал становиться в колонну, тот самый, что похлопал его по спине и ласково улыбнулся среди дыма и крови его первого дня войны. Формы со знаками отличия на нем не было. Как приветствовать его, Митря не знал. Он пожал протянутую ему руку.

— Думитру Кокор? — спросил белобровый с той, знакомой улыбкой.

— Так точно.

— Я привез тебе весточку от твоего приятеля Кости Флори.

Он произнес: «Костафлоры».

Для Митри этот голос прозвучал словно музыка. Улыбка белобрового смягчила давнюю и неизбывную горечь, накопившуюся у него на душе.

— Ну как он, жив-здоров, все в порядке?

— Жив-здоров! В порядке.

Митря, растроганный, заморгал глазами:

— Я все время хотел узнать ваше имя, мы расстались так поспешно…

— Возможно, — улыбнулся белобровый, — я даже и не помню.

Капитан Баранта тоже радовался встрече, хотя

толком и не понимал, о чем идет речь.

— Это наш доктор, — отрекомендовал он, — товарищ Остап Березов.

— Я только фельдшер, а не доктор, — заметил, улыбаясь, Остап.

— Ну, ты знаменитый врач, ведь ты мне ногу оперировал, как и многим другим, всех и не перечислить… Вот эту ногу, которой я отбиваю свои приказания.

Он трижды ударил ногой об пол и посмотрел вокруг, расправляя усы.

Фельдшер Березов показал Митре на ногу Баранты:

— Видишь, Кокор, эту ногу? Неплохая обувь, даже бравая сибирская выправка не пострадала. И служит хорошо. Так вот, Кокор, такая же деревянная нога со стальными пружинами и у твоего друга Костафлоры. Давно меня просил Костафлора поинтересоваться, где ты находишься, разыскать тебя и привезти от тебя весточку. Когда я подобрал его, он говорил, что ты держал его на руках. Вижу и в твоих глазах такую же радость, как у него, когда он о тебе говорит. Я сразу все понял, сразу догадался, что Костафлора наш товарищ, коммунист. Я старался разузнать, где ты находишься. Но нужно было выбрать время,

чтобы завернуть на денек в эти места. Только сейчас мне выдался случай. Я выкроил два денька, чтобы добраться сюда, да два дня я кладу на обратный путь. Могу сегодня побыть здесь, чтобы порассказать о твоем друге, да и тебя порасспросить. Я скажу ему, что мы с тобой без переводчика беседовали. Он будет очень рад этому.

Капитан Баранта трижды стукнул деревянной ногой об пол.

— Разрешите и мне вставить слово. Я пойду похлопочу насчет самовара и всего прочего. А вы выкладывайте вести и новости, пока я не вернусь. Потом послушаем сводку. Кокор любит добрые вести.

— Хорошо! — одобрил фельдшер. — Это как раз по нраву Костафлоре, дружище Кокор, — продолжал белобровый, после того как они остались одни. — Что ты здоров телом, это я заметил, но на сердце у тебя щемит, вижу по глазам.

Митря вздохнул и потупил голову. Воспоминания переполняли его.

— Не унывай, Кокор, и жди, как тебе наказывает Костафлора. Он советует тебе перевестись отсюда, поехать туда, к нему, чтобы закончить ученье. Баранта тобой доволен. Об этом мы говорили, когда ты вошел. В твоих интересах поехать

туда, куда тебя зовут. Подожди здесь до весны, а весной тебе придет приказ. Мы тебе поможем посмотреть и познакомиться со всем, что есть хорошего в нашем, социалистическом мире.

Митря кивнул головой в знак согласия, и в сердце у него затеплилась надежда.

Деревянная нога капитана трижды стукнула в дверь. Сибиряк, тот, что находился в «калидоре», внес самовар. После него вошел другой русский со стаканами на подносе.

Митря улыбнулся белобровому:

— Три стакана могу выпить, а четвертый — нет, лопну. Хочу дожить до весны, доктор Березов!

Глава четырнадцатая
Митря страдает от нетерпения

В конце мая Митря Кокор встретился со своим другом Флорей в лагере для военнопленных, расположенном недалеко от Москвы, в нескольких часах езды на поезде. Румын там было мало, больше итальянцев и словаков. Место было похоже скорее на школу, чем на лагерь. Дома, где жили пленные, были расположены в парке, за чертой города.

Была пора весеннего цветенья. Распускалась сирень, и в березовой роще начинали свою еще робкую песню соловьи. Все напоминало румынскую весну, только пришедшую с некоторым запозданием. Сиянье солнца было похоже на золотую пыль, и местные жители весело приветствовали друг друга, проходя по окраинной улице на работу.

— Военная страда! — заметил кузнец. — Ну, скоро уж она кончится.

— Этот соловей поет словно у нас дома, — прошептал Митря, и глаза его подернулись давней печалью.

Флоря рассмеялся.

— Ты даже не слышишь, что тебе говорят. Что с тобой? — Он взял его за правую руку и пристально посмотрел на него. — Совсем больным кажешься, похудел. Сядем на эту скамейку, на солнышке, поговорим немного. У нас часа два свободных.

Митря покорно опустился на скамью. Тут он посмотрел на протез Флори и вздрогнул.

Флоря заметил это и смущенно улыбнулся, стукнув деревянной ногой об землю.

— Наш «Буденный» стучит три раза, — сказал Митря, стараясь казаться веселым. — Так мы звали Баранту, капитана лагеря, за его усы.

— Спасибо Березову, — тихо пробормотал Флоря.

После долгой разлуки встреча была натянутой.

Некоторое время они молчали. Митря смотрел вокруг, на домик под красной черепицей, на цветущие рядом ирисы и нарциссы — фиолетовые ирисы, белые нарциссы.

— Ты давно здесь?

— Нет, только с весны. Я здесь отдыхаю. Ты тоскуешь по нашей весне?

Митря отрицательно покачал головой:

— Тоскую, да не по ней. Я понимаю, что время не подгонишь.

— Так о чем же? Все твоя старая забота?

Митря подтвердил кивком головы.

— Я тебе расскажу один случай, и ты лучше поймешь меня. Так вот, как мы условились с доктором Березовым, встретился я с ним в одном месте (я записал, как оно называется, в книжку); там мы сели на пароход и поплыли по московскому каналу.

— Здорово! Тебе было что посмотреть!

— И правда, повидал я много, и все мне понравилось. Я и говорю: раньше здесь ничего не было, и все, что видишь, — это дело человеческого разума. Там дальше, к северу, где прежде пшеница не вызревала, я увидел новую пшеницу, скороспелую, как раз годную для короткого лета тех краев. Потом я видел села да села, построенные совсем недавно вдоль болот, где воду обуздали каналами. То тут, то там — пруды и защитные лесочки от бурь. Где была пустошь болотистая, теперь ширятся поля. А в прудах полно рыбы. Снова повторяю: много красивого в природе, но горы, озера, моря и леса испокон веков были красивы, а то, что человек создал умом своим и руками из пустыни, из болота, из ничего — то кажется мне лучше всего. Мир становится просторнее, бедняки страдают все меньше; земля все

тучнеет и расцветает, не то что раньше. Правда, и в других странах напридумывали много такого, чего не было вчера, но лишь на муки и на погибель народу.

— Это, Митря, тебе Березов объяснял?

— И он мне объяснял, но еще больше меня научило свое же горе.

— А чего тебе так горевать, не понимаю. Скорее радоваться надо.

— Я-то горюю потому, что все об одном думаю: и у нас в Дрофах люди могли бы жить немножко получше, полегче, да только пустошь пустошью и остается… Так вот, как я тебе и говорил, везет меня Березов и объясняет все, совсем как агроном какой-нибудь…

— Эх, Митря, хороший человек Березов…

— Хороший, дельный человек. Всякий раз, как мы встречаемся, он хлопает меня по плечу, и это мне нравится. Повез меня Березов в огороднический колхоз, братец Флоря, от Москвы два-три перегона. Называется этот колхоз «Память Ильича». Видел я и другие такие коллективные хозяйства, посмотрел и этот. Рассада помидорная, перечная, огуречная под стеклом на больших грядах. Опять думаю: «Хорошее дело». Вижу клуб, где собираются огородники и огород-

ницы, читают газеты, слушают радио, о политике толкуют. Тут я думаю: «А это еще лучше! Так бы и у нас на родине вывести земляков из темноты!» И вот прихожу в сад, а там два-три домика полны ребятишек. Несколько грудных, а больше лет так двух-трех, остальные постарше. Игрушек в комнате — куча, а в спальнях у малышей кровати чисто застелены. Только-только отобедали, и теперь три или четыре няньки укладывали их в постель. Наигрались они вволю, наелись досыта, а теперь малышам спать надо. Матери работают, и никакой им мороки. Опять думаю: «А у нас в Малу Сурпат — одно горе! Какие уж там игрушки, какая еда, какой сон!» Когда-то одного из моих братишек, который был бы теперь моим «старшим», свиньи разорвали: был ему годок от роду, лежал он в тени в корытце, а мать недалеко по делам отлучилась. Годовалого того братишку тоже Митрей звали, в его память и меня Митрей нарекли. И я бы мог лежать в том корытце. Эх, друг ты мой, как увидел я этот дом для деревенских ребятишек, так меня и взяло за сердце, отошел я в сторону, не могу слез сдержать. Коровы, козы, птица выделены в отдельное хозяйство, для прокорма этих детей, а также и тех, кто уж не может работать, — старух и стариков. Все хорошо, все,

что я видел, мне понравилось, но детей этих не могу я забыть. Так и мерещится мне брат мой Митря, который мог бы куда лучше меня быть, а вот нет его, погиб, словно какая букашка.

Кузнец молча выслушал весь рассказ. Потом спросил:

— Так ты об этом горюешь?

— И об этом и о другом.

— Эх, Митря, друг, сам ты себя изводишь.

— Может, и так. Березов говорил, будто бы есть у меня признаки желтухи.

— Да, ты немножко свихнулся с тех пор, как все здесь повидал. Знай, Митря, дружище, недалеко время, когда и у нас наведет порядок партия. Скоро войне конец. Разобьют советские люди немцев; может, и я поеду и вроде твоего сибиряка трижды стукну своей деревянной ногой о берлинскую мостовую. Свергнем хозяев, разделим землю между мужиками, прогоним эксплуататоров-предпринимателей, государство возьмет заводы в свои руки, и мы изготовим вам, пахарям, машины, разные орудия. Будем руководиться наукой и всеми новыми открытиями и создадим у себя тоже новое государство, такое, как здесь.

Митря вздохнул:

— Но когда же это будет?

— Эй, Митря, дружище, мне кажется, болезнь твоя называется нетерпеньем.

— Правда твоя, Флоря, сижу как на угольях. Боюсь, как бы не помереть раньше.

Кузнец хлопнул его по плечу:

— Мы еще поживем, все застанем. Ты видел в Москве Красную площадь?

— Видел.

— Ну, тогда знай — там будет самый большой парад после победы. А в Мавзолее Владимира Ильича был?

— И там был. Владимир Ильич словно живой лежит. И Кремль я видел, над ним красные звезды горят…

— Запасись, Митря, терпением, — перебил его кузнец. — Научись и ты быть спокойным, как эта земля, которой конца не видно, и учись тому, чего еще не знаешь, ради тех времен, которых ждешь.

— Ты прав, — вздохнул Митря, — буду учиться.

— Видишь ли, Митря, — продолжал кузнец после некоторого размышления, — я думал подождать с тем, что хотел тебе предложить. Однако вижу, время уже настало.

— А что предложить?

— Близится, Митря, и для нашей несчастной

родины час освобождения. Демократия тогда возьмет власть. Все, что будет делаться и перестраиваться, нужно будет защищать, значит, нужна и новая народная армия.

— Я слышал о дивизии имени Тудора Владимиреску, — так и вскочил Митря. — Ты помоги, брат, устроить меня туда!

— Потерпи, Митря, потерпи, парень, — увещевал его кузнец.

Глава пятнадцатая
Мельник Гицэ нуждается в советах барина

В Малу Сурпат у Гицэ Лунгу мельница молола жерновами, а крестьяне языками. Здесь сошлись разные люди не только из Малу Сурпат. Одни с мешками в телегах, другие с котомками за плечами. Эти последние, бедняки и вдовы, мало зерна принесли молоть, мало и слов осмеливались вставить в разговор. У кого же на телегах были мешки, брали иногда в оборот и самого мельника. Судачили, чтоб скоротать время и, может, кое-что о своих разузнать. Старались хоть что-нибудь вытянуть из Гицэ Лунгу, который нет-нет да бывал иногда в поместье Хаджиу. У господина Кристи было радио, а по радио болтали и такое и сякое про чертову политику. В Хаджиу было известно, что война у немцев идет хорошо и политика тоже.

Уж так хорошо — чтобы так было всегда и тем, кто в Берлине, и этим нашим, бухарестским, которые потянулись за ублюдком с усами, словно у майского жука. Видно только, гонят их русские

назад и лупят так, что лишь искры летят. Господин Кристя будто бы говорит, что немцы-де сегодня отступают, чтобы еще крепче напасть завтра, что у них есть какие-то машины с ядовитым дымом.

Ну, этому пусть верит господин Кристя и те бухарестские, которые опустошили страну и против нашей воли погнали детей наших на бессмысленную гибель. Еще говорит Трехносый, будто немцы выдумали какие-то машины, что испускают лучи смерти. Кое-что и получше надумали: собирать здесь все, что у людей припасено из еды и питья, и увозить на поезде к себе. И одежу, и обстановку, и железо с крыш погрузили в Молдове в вагоны и утащили в Германию.

В ту пятницу, когда посудачили уже обо всем, Стойка Чернец, прозванный Рыжебородым (у него только-только начала седеть борода), обратился к мельнику:

— Эй, Гицэ, а что поделывает твой братишка Митря?

— Да я откуда знаю? Я от него никаких известий не получал.

— Я слыхал, Гицэ, будто пропал он там в степях.

— Все может быть. Не я его посылал.

Чернец засмеялся.

— Хочешь сказать, что он сам отправился, ради собственного удовольствия?

— И этого тоже не говорю. Если выпала ему судьба погибнуть, отслужим панихиду, как положено. Говорят, москали загнали немцев и наших в ледяную пустыню и держали там, чтобы все померли от голода и холода. А пробовали наши выбраться, так москали били по ним из пушек и не пускали. Говорят, там и погиб мой бедный брат. Съели его волки, только ноги одни оставили, потому были они в сапогах.

Разговор шел под навесом в самую полуденную жару. Все столпились в кучу и слушали. Волы жевали в упряжках; мельница глухо тарахтела.

— Что же теперь тебе делать, Гицэ Лунгу? — притворился опечаленным этот чертов Стойка Чернец. — Ведь тебе остался надел бедного Митри.

— Какой там надел? Клочок земли. Ничего он не стоит.

— Нет, стоит, — поддел его Чернец. — Вот ты-то не пошел на войну, а меньшой брат пошел и землей тебя наделил.

— Перво-наперво, — уклончиво ответил Гицэ, — перво-наперво, эта Митрина земля в залоге

у барина.

— Как же так? Ты заложил, что ли?

— Так вышло, что барин удержал землю за долги Митри.

Чернец зло рассмеялся:

— Добрую сделку совершил бедный парень. Гнул спину столько лет без жалованья, без одежи и задолжал еще Кристе родительское наследство.

— Жалованье он получал.

— Да! Знаем мы. Его и кормили? Тоже знаем.

— Землю я выкупил, — поспешил добавить Гицэ.

— Это хорошо. Хоть что-то будет у парня, когда он вернется.

— Как же вернется, коли он погиб?

— Ну, это бабушка надвое сказала, Гицэ. Ведь говорили так и про других, а потом оказывалось, что они живы.

Стойка Чернец поднял свои колючие глаза, но тут же выражение его лица смягчилось, как только он увидел рядом Настасию. Девушка загорела и похудела, но по-прежнему носила в волосах цветок. В ее карих глазах не было ни слезинки. Она твердо смотрела на собравшихся, подняв свою головку выше, чем обычно.

— Дядя Чернец, — сказала она, — пришла весточка, что Митря не погиб. Он жив-здоров, как я и ты.

— Тогда уже скорее — как ты. Ну, очень рад.

Мельник левой рукой почесал за ухом, а правой нащупывал стул, чтобы опереться.

— Хорошо, коли так, — пробурчал он себе под нос словно не своим голосом. — Откуда ты узнала, а? Писал он тебе, что ли? Ведь он теперь великий грамотей, — ухмыльнулся Гицэ. — Я и этому радуюсь.

— Да уж видно, как ты радуешься, Гицэ Лунгу, — подпустил шпильку Чернец.

— Так и запомни, что я радуюсь, — проговорил Гицэ. — Значит, он писал тебе?

— Не писал он мне, — ответила Настасия, не глядя на него.

Тогда вышла вперед чернобровая, раскрасневшаяся от солнца Уца Аниняска.

— Иди-ка ты, дорогая, домой! — подтолкнула она ее. — Дай я ему сама скажу.

Настасия ушла. Мельник мрачно смотрел ей вслед, стиснув зубы.

— Ну? — обратился он к Уце. — Чего молчишь? Говори.

— И скажу, — засмеялась Уца, показывая все

свои зубы. — Только ты не смотри на меня так нежно, а то пропала моя головушка. Этой ночью как снег на голову свалился Динкэ Ипэтеску. Погодите, не волнуйтесь…

Под навесом зашевелились.

— Погодите, не волнуйтесь. Наши мужики еще не возвращаются. Но ждать их уже недолго. Динкэ Ипэтеску случай вышел. Большое сраженье было целых две недели. Москали прорвали фронт в одном месте, Уманью зовется, и погнали немцев. Они так побежали, что и не догонишь: вся Молдова полна зайцев. Немцы только приостановятся, чтобы нагрузить вагоны продуктами, и айда дальше от страху вовсю улепетывать. Среди этих беглецов были и наши — и Динкэ самый первый угодил домой. Пришел и ушел, даже начальство не пронюхало. Уж рада была Динкина Порумбица. Ведь не прожили и трех дней после свадьбы, как ушел молодой муж сложить свои косточки неведомо где. А вдруг явился. Назавтра в обед приходит Порумбица ко мне — ведь я ей тоже крестная — и все мне рассказывает. Кто погиб, кто жив остался. Жив Иримия Робу с хутора, и Санду Кэлугэру из Поарта Сатулуй, и Николае Григорицэ, полевой сторож, и другие, всех она мне перечислила, как говорил ей Динкэ. Жив,

говорит, и Митря Кокор, в плену он у москалей. Я тут же позвала свою другую крестницу и передала ей добрые вести, чтобы она пошла и вам сказала. Не погиб Митря. Он, слыхать, теперь уже унтер-офицер.

— Как? Ну, тогда это не он, — пробормотал мельник. — Голодранец в унтер-офицеры вышел, ну кто видал этакое?

— А ты поверь, красавец. Динкэ знает, что говорит. Нету на свете и на русской земле другого такого Митри Кокора, на которого все радовались бы, даже Дидина. Мне всегда такие парни по нраву были, он один только и остался. Что же ты, Гицэ, и не улыбнешься?

— Улыбаюсь, — пробурчал мельник, спохватившись, — и радуюсь, ведь Митря мне брат родной.

Мельница остановилась. Мужчины и женщины разошлись. Нагружали мешки на телеги, взваливали котомки на плечи, собирались в дорогу.

Мельник, задумавшись и что-то бормоча, стоял под навесом; он покачивал головой, считал на пальцах и смотрел пристально вдаль воспаленными, красными глазами.

— Хм-хм! — сухо покашливал он. — Кто это? Куда идешь?

Это был механик, бородатый седой немец с красным носом.

Он еле волочил ноги по двору и обмахивался соломенной шляпой. На нем был широченный парусиновый костюм, весь в масляных пятнах. Когда-то он жил в именье Трехносого. Потом перешел на мельницу, но не поладил с Гицэ Лунгу, как не ладил и с барином.

— Недоносок ты, немчура… — пробурчал Лунгу. — Эй, Франц, я тебя спрашиваю, куда ты идешь?

— Немножко иду в корчма… — ответил Франц, продолжая обмахиваться шляпой. — Я не Франц, я — герр Франц.

— Брось, не гордись, что ты какой-то там герр. Слышал небось, как русские лупят немцев.

— Это не мой дела. Я прошу называть меня герр Франц.

— Хорошо, хорошо. Ты отпирал ящик со вторым гарнцевым сбором?

— Нет. Открою, когда будем вместе. Я повесил от себя замок с секрет. Я не доверяй, когда пошел в корчма, что ты не взял больше, чем я.

— Вот чертово отродье, — недовольно пробурчал Гицэ. — И с этим морока. Куда ни повернись — везде жулики. Я вкладываю капитал, машины,

запасные части, а у него одни лохмотья. Кроме жалованья, я ему еще и из второго сбора выделяю. Правда, он все это дело и оборудовал, все умеет делать, дьявол, да ведь за мой счет. Смеется, когда говорю, что делить второй сбор пополам неправильно. Говорит, в воровстве такой закон — все пополам! Хотя бы он копил деньги, а то все уходит у него сквозь пальцы… Надо у себя здесь завести корчму. Зачем его будут обирать другие, когда я сам могу это делать? Ишь ты, повесил свой замок с секретом!

— О чем это ты?

Это была жена его Станка.

— Про немца говорю, черт бы его побрал! Навесил замок с секретом на второй гарнцевый сбор.

— Так тебе, Гицэ, и надо, раз водишься ты со всякими прощелыгами. Пойди-ка, прошу тебя, полюбуйся еще на другое; за этим я и вышла тебя позвать. Послушай-ка мою проклятую сестрицу, как она мне все время перечит. Я ей говорю, что парень погиб, а она смеется.

Гицэ надул губы, сложив их пятачком. Даже позеленел от злости.

— Что же делать? — заскрежетал он гнилыми зубами. — Я говорил с батюшкой Нае. Не смеет он дать добрый совет бедной сиротинке. Требует

сунуть ему в лапы пять сотенных за молитвы да поклоны пречистой. Когда он прочитает, мол, известные ему молитвы, тогда заскучает девчонка о монастыре. Как будто бы я баба, чтобы так меня обдуривать.

— Гицэ, Гицэ, — запричитала жена, перекрестившись при этом, — наши дочки только помянули Настасии о земных поклонах в Цигэнешть, а она так и набросилась на них и по губам нашлепала.

Мельник хлопнул себя по лбу и вытаращил глаза на Станку.

— Черт… ну, пойду расправлюсь с ней.

Жена остановила его:

— Ради Христа, не ходи, Гицэ, не бей ее, Гицэ! Она ведь сумасшедшая, выскочит в окошко и побежит вопить по селу, что хотели мы ее убить, чтобы забрать ее приданое.

Станка уговаривала его, пока он не утихомирился.

— Тогда чего ты от меня хочешь? — запыхтел мельник.

— Уж лучше добром, лучше лаской, Гицэ.

— Ого-го! — скривился Гицэ. — Пойду-ка улыбнусь ей, словно барыне.

— Погоди, Гицэ, не теряй головы, Гицэ. Примочи

немножко глаза холодной водой. Постой немного тут да иди обедать! Только не задерживайся, чтобы щи не простыли.

Гицэ Лунгу направился к своей берлоге в пристройке возле мельницы.

— Я успокоюсь, ты не бойся. Выпью стопку и успокоюсь. Только знай, жена, мой меньшой брат не пропал. Аниняска известье принесла.

— Господи боже ты мой, — запричитала женщина, схватившись за голову.

— Замолчи, теперь уж я тебе приказываю успокоиться. Все-таки… может, известие и неправильное… Может, только говорят… Да смилостивится господь бог над нами и над покоем нашим!

Станка захныкала у него за спиной на пороге каморки:

— Налей и мне, Гидэ. Под ложечкой сосет, тошнит от всех этих напастей.

— Убирайся отсюда, — повернулся мельник, надувшись. — Жена такой особы, как я… Не подходяще. Уж лучше я выпью две стопки. Ну, ладно, иди, на и тебе одну, — смягчился он, видя ее слезы. — Знаешь что, Станка? — продолжал мельник, просветлев после второго стаканчика. — Принеси-ка мне щи сюда. Не хочу я смотреть на нее, как она кочевряжится. Убить ее хочется, глотку

перегрызть; сам не знаю, что мне в голову лезет! Ну, иди. Отсюда можно и за немцем последить: посмотрю, уж не подобрал ли он ключ к моему замку. Такой и ограбит и по миру пустит. Его бес пьянства подстрекает… Думается, никогда люди не были такими подлыми, как теперь. Сестра родная продает, потому подошло ей время замуж выскочить. Вырастишь родного братца, а потом он возвращается да еще чего-то требует. Скажи ты мне, что это за война, если ты пошел воевать и приходишь домой, как с ярмарки? Я спрошу Кристю: богатый знает больше бедняка; потому он и богат, что умен. Барину больше известно.

Несмотря на все тревоги этого дня, Лунгу не забыл о своем намерении повидать барина. Через несколько дней он появился в Хаджиу и попросил разрешения повидать «моего барина».

Его барин, как обычно, находился на вышке, с подзорной трубой и ружьем. Он стал еще толще и угрюмей.

Гицэ Лунгу осторожно положил шляпу на стул и смиренно поклонился.

— Что с тобой, Гицэ? Ты, я вижу, купил новую шляпу.

— Что ж, — захихикал Гицэ, — лысому нужна скуфейка. Только страсть какая дорогая, барин.

— Такая и полагается тебе, Гицэ, денег у тебя хватит. Ну что, Гицэ, — верно, пришел спросить, как идет война?..

— Затем и пришел, барин. Других дел промеж нас нет, все кончили.

Трехносый пристально посмотрел на него, покачивая головой.

— Плохи дела, Гицэ. Если не воспрянет немец и не придумает чего-нибудь, чтобы растерзать, разметать, забросить русских к самым звездам, тогда худо будет.

— Почему, барин? — забормотал перетрусивший мельник.

— Эх, Гицэ, ты до сих пор, видно, не понял, что главная для нас опасность — большевики.

— Почему, барин? Они там, а мы здесь.

— Дурак ты, Гицэ, если так думаешь! Ведь раз они идут за немцем по пятам, то завтра мы их увидим здесь, у себя. Тогда и у нас в стране поднимется голытьба и нищие, как это было у них. Боюсь революции, Гицэ, вот оно что!

— Может, еще не так страшно, барин, — испуганно пробормотал Гицэ. — Я вижу, наши люди рады были бы миру. Никакого восстания им больше не нужно, им бы, несчастным, только дни свои дотянуть.

— Разве ты не донимаешь, Гицэ, что их другие подстрекают? У большевиков ведь революция — это профессия. Если мы не возьмем дела в свои руки и не затянем подпруги, плохо может получиться.

— А вы затяните, — согласился Гицэ Лунгу.

— На то есть правительство. У правительства сила, правительство должно быть настороже.

— А вы, барин, говорите, что идут на нас эти…

— Говорю, идут. Мы просим мира: повинную голову меч не сечет.

— Это так, — снова согласился мельник.

— Так-то оно так, да как сделать? Нужна сноровка, нужны люди с головой, чтобы вести переговоры.

— Найдутся и такие, — отозвался Гицэ. — Пусть нас оставят с миром, не мешаются в наши дела.

— Вот именно! — выпучив глаза, подтвердил Трехносый.

— Пусть и меня оставят в покое, — продолжал Гицэ, — у меня своих забот полон рот. Вот за этим я и пришел: попросить совета у сведущего человека. Девчонка, женина сестра, устраивает мне оппозицию.

Господин Кристя засмеялся:

— Это та, которую ты хотел постричь в монаш-

ки, чтоб тебе земля осталась?

— Не затем, барин… — оправдывался мельник, несколько пристыженный.

— Нет, затем. Да это и правильно, ведь кому, как не тебе, знать, что делать с ее землей.

Мельник молча проглотил слюну, уставив на помещика свои больные глаза.

— Слыхать и про брата моего Митрю, греховодника, что возвращается он.

— А ведь болтали, что он погиб.

— Не погиб. Это так только говорили. А теперь оттуда весточка пришла.

Мельник был весь внимание, ожидая совета от человека, который был поумнее его, «потому что сумел накопить больше».

— В конце концов, если он и придет, что тревожиться? Такой, как он, будет рад, что хоть шкуру сохранил; будет рад и куску хлеба от нас. Разве я не здесь? Разве у нас нет властей? Нет жандармов? Он в наших руках.

— Они с войны приходят отчаянные, барин.

— Знаю, об этом я тебе с самого начала говорил…

Что он говорил с самого начала? Говорил что-то о переговорах и ловких людях. Гицэ Лунгу ничего толком не понял и смущенно улыбался.

— Я, барин, боюсь, как бы не вернулся он калекой. Засядет у нас на печи, а ты корми его. Уж лучше бы убили, чем этак.

— Послушай, Гицэ, ждал ты до сих пор, подожди еще немножко, — посоветовал помещик, которому стал надоедать этот разговор. — Разберешься, а там и примешь меры, смотря по обстоятельствам.

Гицэ Лунгу почесал за ухом, уставившись в угол, куда смотрел и помещик. Что может там храниться? Деньги? Деньги в банке в Бухаресте. Дурак он, что ли, чтобы держать их в Хаджиу? Только мельники, которым ума не хватает, держат пачки банкнот в Малу Сурпат. Но и мельники уж не такие простаки, как о них думают. Где эти пачки спрятаны, сам черт не найдет.

— Понял?

— Понял, — вздохнул мельник. — Позвольте мне еще как-нибудь зайти…

— Заходи, — пригласил боярин Кристя.

Его «заходи» прозвучало менее равнодушно, чем в другие разы, и Гицэ обратил на это внимание.

«Значит, и у него есть во мне нужда», — подумал он, спускаясь с вышки и заботливо поправляя на голове новую шляпу.

Случилось так, что господин Кристя в тот же самый вечер послал верхового объездчика за Гицэ, чтобы тот как можно скорее пришел в именье. Были позваны и другие: староста и писарь, поп и учитель, начальник жандармского участка и разные деревенские заправилы, чтобы узнали они о добрых вестях, переданных по радио.

Гицэ задержался, пока натягивал на себя белье, снятое из-за августовской жары, пока старательно одевался, собираясь к Трехносому и раздумывая, что это за вести могут быть. Добрые ли вести? Может, что-нибудь стало известно о Митре? Только из-за этого не стал бы Кристя вызывать столько людей. А может, хочет сообщить, что немцы наконец взялись за дело по-настоящему — пустили ядовитый дым или лучи смерти.

Он бежал, гулко топоча каблуками, по тихим, молчаливым улицам села. Перед входом в Хаджиу он услышал впереди себя, среди высокой кукурузы, громкий разговор. Гицэ заторопился еще пуще и наткнулся на тех, что были вызваны в именье.

— Вы были там? Что случилось?

— Случилось, что заключили перемирие с «советами». Теперь все своими делами будем заниматься, избавимся от немцев.

В темноте мельник пытался узнать, кто это говорит.

— Это волостной старшина, — шепнул ему на ухо поп Нае.

— И мне бы сходить туда, — сказал Гицэ.

— Не ходи, — посоветовал ему начальник жандармского участка Данциш. — Господин Кристя устал, выпил немножко с нами и лег спать. Завтра встанет, чтобы принять меры.

— Какие меры?

— Меры, надлежащие при таком событии. Ведь мы должны рассказать людям, объяснить, посоветовать…

— Верно. Завтра зайду к нему.

Поп Нае толкнул его локтем и шепнул:

— Что на него смотреть? Сам на себя смотри. Русские идут.

— Ну и что, если идут? — пробормотал Гицэ.

— Ничего, только я тебе говорю, чтоб ты все обдумал. Это тебе мой совет.

Они возвращались в Малу Сурпат, разговаривая о всяческих мелочах под вечными звездами.

Не было и шести часов утра, когда боярин Кристя, серьезный и суровый, уже сидел на низеньких рессорных дрожках, сдерживая вожжами рысаков. Медленно объехал он свое именье. Все

люди были на местах. Таков был его приказ: каждый при своем деле! Потом он быстро покатил в Дрофы. Там он рассердился, увидев, что с работами запоздали. Только-только запрягли волов и повели их к плугам, оставленным на бороздах.

Тригля издалека увидел Трехносого и ожидал у землянки посреди дороги, около стана. Голова его была непокрыта, и легкий утренний ветерок трепал его седые волосы. В правой руке он держал обрывок цепи.

— Что за цепь? — спросил Трехносый, резко останавливая рысаков.

— Да так, барин; просто цепь, наша…

Кристя, повысив голос, громко спросил:

— Слышали известие о мире?

— Слыхали…

— Когда? Как? — изумился помещик.

— Откуда мне знать? Пришел кто-то в полночь. В селе был. И нам сказал.

— Ну и что скажете? Рады?

— Что ж, барин. Сразу не скажешь, хорошо или плохо. Мы, бедняки, — продолжал Тригля, забросив обрывок цепи, — подождем, посмотрим, что дальше будет.

Когда боярин уехал, старуха Кица высунула из-под навеса свою совиную голову и поглядела

вслед дрожкам.

— Что случилось, Тригля? — крикнула она. — Только-только погода казалась хорошей. А теперь, видать, скисла!

Глава шестнадцатая
Настасия пускается в тайное путешествие

Однажды утром восьмилетняя Мица, дочка Чудосу, живая, непоседливая и быстрая, словно козочка, прибежала на мельницу спросить, «когда запустят мотор, чтобы и тятя пришел молоть», и минутку-другую подурачилась с Настасией, которая пряла, сидя на солнышке позади дома, там, где не было ветра.

Чудосу жил через плетень от Аниняски. Жена его, Мария, на что уж была бойка, а дочка Мица ее перещеголяла, как бы в подтверждение старинной румынской пословицы, что старая коза через стол перепрыгнет, а молодая козочка и через дом перемахнет.

— Брысь отсюда, Мица, — отмахнулась от нее Настасия, — оставь меня и так тошно, глаза бы мои не смотрели…

— А вот пойди к Уце Аниняске, — отвечала девочка, — тогда и повеселеешь.

И козочка пустилась прочь со всех ног: вот была здесь, вот показалась на краю села, вот юркнула

в какой-то сад и исчезла.

Настасия бросила веретено, посмотрела, что делает Станка у растопленной печи, на ходу повязала красную косынку и побежала вслед за Мицей.

Она знала, что крестная Уца уже два дня как больна. Ее мучил застарелый ревматизм. Она едва передвигалась, полчаса шла из комнаты до кухни, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. А все больше лежала в постели под одеялом. К ней то и дело заглядывали соседки и крестницы, чтобы помочь ей.

Настасия торопливо вбежала, вся раскрасневшись, грудь ее подымалась высоко, она едва переводила дух.

— Ух, крестная Уца, бежала сломя голову. Чудосову девчонку обогнала… Что случилось?

Крестная уже сидела на краю постели. Она слышала, как прибежала девушка, как хлопнула дощатой калиткой, торопливыми шагами пересекла двор, дернула ручку наружной двери.

— Добрые вести, дитятко, — ответила она, улыбаясь.

— От Митри?

— От него. Только скажи мне, Настасия, дорогая, почему так случилось, что эта радость меня

опечалила?

— Не понимаю, крестная, ты меня пугаешь.

— Не пугайся, моя ласточка. Есть письмецо, сейчас тебе отдам. Его привез Динкэ, муж Порумбицы. Его послало начальство с письмами в Бухарест. А он, как только сдал письма полковнице и капитанше, сразу же на вокзал, на поезд и приехал к жене, как и в прошлый раз, хотя бы на ночку. Он служит в полку по соседству с частью твоего Митри. Час тому назад Порумбица принесла мне письмецо. Прочитала я, кликнула с порога Чудосову Мицу, ведь она тоже моя крестница. Беги, говорю, Мица, приведи ко мне нашу Настасию единым духом. Видишь, вот письмо.

Настасия смотрела во все глаза, думая увидеть письмо величиной с Евангелие. Крестная Уца протянула же ей маленькую бумажку, сложенную вчетверо.

Девушка, дрожа, развернула ее: бумага жгла ей пальцы. В «письме» только и было написано:

> «Крестная Аниняска.
>
> Уповаю на твою милость и прошу тебя привезти Настасию немедленно в Сибиу».

— Не понимаю, — прошептала Настасия, вся

как-то увянув и пристально глядя на Аниняску.

— Прочти еще разок.

— Читаю. Почему он называет тебя крестной? Ведь ты его не крестила!

— Крестить не крестила, но поженю вас я, сообща с моим братом Маноле Рошиору.

Настасия зарделась до самых кончиков ушей. Она поцеловала Аниняске руку и снова уткнулась в записку, которую держала в левой руке.

— Почему он не приезжает сюда и почему мне немедленно ехать в Сибиу?

— Твоя правда, ласточка, я-то тебе не сказала, что Динкэ приехал из Сибиу только потому, что его послал начальник. Митре же нельзя уехать: служба не позволяет. А «немедленно» приехать просит он потому, что долго там они не пробудут, уйдут дальше. Двинутся войска догонять немцев, отправится и дивизия Тудора Владимиреску. Ну как, поняла? Я лежала, ласточка, и все думала. А тебе когда и подумать? Ты все с рыву, с маху…

— Правда, крестная, — смутилась Настасия, и на глаза у нее навернулись слезы. — Только почему ты говоришь, что эта радость печалит тебя?

— Потому что я больна, ласточка, и не могу двигаться. Будь проклят этот ревматизм во веки веков, пропади он пропадом, чтобы не мучились

люди. Не мог меня схватить зимой или прошлой осенью, когда не нужно было никуда ехать.

— Ой, крестная, горюшко мое! Что же мне делать? Ведь Гицэ и не подумает, чтобы проводить меня. Гицэ на меня смотрит волком, словно разбойник какой; его бы воля, так и разорвал бы меня на части. Он готов руки лишиться, лишь бы брат его не вернулся.

— Отсохли бы у него руки! — вздохнула Аниняска.

— А сестра готова меня, крестная, ядовитыми грибами извести.

— Самой бы ей отравиться, — снова вздохнула Уца.

— Деньги у меня есть, крестная, я отложила. Только как я без тебя поеду?

— Ничего, доедешь.

Аниняска притянула ее к себе и вытерла ей слезы ладонью.

— Одной ехать?

— Одна поедешь. Там вы будете вдвоем. А потом ты вернешься. До города отвезет тебя мой брат Рошиору, ваш крестный. Ведь брат мой — вдовец, так что никто ничего не узнает. Сядешь ты в поезд и поедешь. Где, скажут, Настасия? Нет ее. И Аниняска не знает. Никто ее не видал. Если

жива — вернется! А ты будешь далеко, унесут тебя крылья любви. Вот так, милая. Готовься в путь. Вечером Маноле отвезет тебя к поезду. Не тревожься. Ведь только от Бухареста много народу едет. Да найдутся и там добрые люди, которые помогут тебе. Только ты получше схорони деньги под подкладку. Я приготовлю корзинку с едой. Ты Митрю и от меня поцелуй.

— Обязательно, крестная, — поспешила заверить ее Настасия.

Она опустилась на колени и поцеловала ей руки, обливая их слезами.

Весь этот день девушка была сама не своя, не находя себе места. Вечером она исчезла с мельницы, словно тень. Уехала.

Только через день узнали об этом на селе. Всю ночь и целый день во вторник Гицэ и Станка сохраняли в тайне исчезновенье Настасии. В среду мельник отправился к жандармам. Тогда-то, после первых расследований унтер-офицера Данциша, и пошли слухи, разливаясь, словно река Лиса в половодье.

Когда Гицэ Лунгу вернулся на мельницу, Станка угостила его вместе с обедом свежей новостью, что сестра ее Настасия будто бы утопилась в колодце.

Мельник почесал за ухом и медленно покачал головой, глядя в темный угол, где затаилось зернышко страха. Он скривился:

— Нехорошо, Станка.

— Почему? Ты же ни в чем не виноват.

— Я-то знаю, что не виноват, — пробормотал он, не глядя на нее. — Кто тебе сказал про колодец?

— От людей слыхала. Приходили сюда, оставили мешки.

— А они откуда знают? Видели они, что ли? Уж не из нашего ли колодца они ее вытащили?

— Что ты, Гицэ? Говорят, от людей слыхали. А что с ним, с колодцем?

— Ничего. Просто так спрашиваю. А ты что знаешь? — повернулся он к ней, и глаза его налились кровью.

— Батюшки! — вскрикнула она, всплеснув руками. — Теперь только я поняла! Вставай, бросай обед! Беги посмотри! Пошарь багром в колодце. Ишь, барыня, что удумала. Господи боже мой, дева пречистая, сгореть бы ей в аду!

Мельник надулся, он как-то весь ощетинился.

— Это ты ее столкнула, Станка? — закричал он, замахиваясь на нее рукой.

— Что ты болтаешь? — Она так и застыла, уставившись на мужа. Гицэ ухмыльнулся.

— Я-то ведь не такой дурак! К себе в колодец?..

— Ой, Гицэ, что ты говоришь? Я тоже не дура. Коли все так, как говорят, то испоганила она нам колодец.

Она пошла вслед за мельником. Он, пыхтя, достал багор.

Присоединились еще два крестьянина. Они сбросили с плеч мешки и подбежали к колодцу, чтобы свесить над срубом свои лохматые головы и посмотреть, что там такое в глубине. После мельника они тоже пошарили багром. Ничего не было. Только время потеряли.

Гицэ Лунгу, весь в поту, отошел в сторону. Он перекрестился, возведя глаза ввысь. Только сейчас он увидел ясное небо начинающейся долгой осени. На мгновенье он успокоился.

Но зернышко страха из темного угла проникло в Гицэ и начало расти. Если свояченицы проклятой нет в колодце у мельницы, тогда она в другом месте. Покончила с собой, безумная девка, чтобы вся вина пала на него. Отчаянная ведь, чего только не взбредет ей на ум!

Гицэ боялся взглянуть на людей. Ему казалось, они подозрительно смотрят на него.

Он пошел в дом и доел свой обед. Жена как будто немного успокоилась.

— Видишь, нет ничего!

— Что я видел? Ничего не видел. Может, она в другом колодце. Я и то думаю, почему ей обязательно в колодце быть?

— И я то же говорю, Гицэ. Откуда тебе взбрело в голову, что она в колодце?

— Мне взбрело?

— Тебе, а кому же еще? Почему в колодце? Может, она в омуте, в Лисе. Или скатилась в обрыв у Бобу, где такая трясина, что и гнедую кобылу попа Нае засосало по самые уши.

Мельник нерешительно встал.

— Хотел я тебя поколотить, да вижу, сил моих нету — жалко тебя. Пойду снова к жандармам. Пусть они ищут, расследуют, выясняют, отведут от нас эту новую беду.

Станка осталась дома, ругаясь и хныча. Гицэ же зашагал в село вдоль телефонной линии, на проводах которой сидели ласточки, готовясь к отлету. Они сидели одна около другой, словно жемчужинки, до самого горизонта. Другие, щебеча, стаями кружились в высоте.

«Им что… — вздохнул Гицэ и мысленно обругал их, как будто они знали о происшествии с этой сумасшедшей девчонкой. — Кто знает? Может, она и не погибла, а пошла по белу свету искать

своего Митрю. Что-то не верится, чтобы нашла. Да где же ей разыскать его? А может, как-нибудь дошло известие, что он убит, вот она, обезумев, и отправилась куда глаза глядят. А может, не то и не другое. Вскружили ей голову, и сбежала она с кем-нибудь в соседнее село. Или подхватили ее в грузовик отступающие немцы и увезли с собой. Они это делают; им что! Кто им будет сопротивляться? Возьмут и застрелят из пулемета… Лихо достается и немцам этим: травят их русские, словно волков. Да и наши на них поднялись. Через горы бегут, степью бегут; правда, здесь их еще не видали. Ну, так как же быть? Где она затаилась, назло нам? Чтобы люди косились… Вот почему те двое, что были у колодца, копались и в мусоре около мельницы… Дескать, удавили мы ее и закопали там. Не догадался я тогда оборвать их: «С кем, вы думаете, дело имеете, а? Эй вы, голытьба, Гицэ Лунгу не способен на этакое!»

Да и вот эти, что проходят мимо… Поздороваться поздоровались, но в глаза не смотрят. Бабы собираются у калиток, поглядывают на меня искоса, все перешептываются. А обернись, так увидишь: головой на тебя кивают. Язычок у них такой — и искусает и обдерет, получше, чем волчьи зубы».

На жандармском участке унтер-офицера Данциша не оказалось. В примэрии тоже не было. Вместе с людьми он отправился на поиски.

Гицэ напал на его след, нашел Данциша. Он то тут, то там забрасывал невод в омуты Лисы. До сих пор ничего не нашли. Данциш пожал плечами.

— Нету, Лунгу; нет и нет. Всюду обыскали. Аниняска тут приходила. Она видела девчонку во вторник утром. Ты говоришь, во вторник ночью она дома не ночевала? Какой вывод можем сделать, кроме того, что она исчезла? Ты подал мне заявленье, я делаю заключенье. Подождем. Попомни мое слово, она вернется.

— И это может быть... — вздохнул Гицэ. — После того как задала она мне такого жару — по правде скажу, Данциш, что уж если сбежала, то и к лучшему. Прошу тебя, пошли письмо в монастырь Цигэнешть. Может, она там. Тогда бы я был спокоен. Не по себе мне от всей этой истории.

— И мне тоже. То одни, то другие намекают, дескать, тут преступленье.

— Знаешь, Данциш, в таких делах всегда бабы виноваты. Вот гляди, какую бучу подняла эта девчонка. А какие небылицы распустили по селу бабы о почтенных людях. Припомни ту, что остригла силача Самсона, когда тот спал, и

выдала его филистимлянам? Куда ни повернись, куда ни посмотри, везде из-за этих баб брань и поношение…

Гицэ, казалось, успокоился и был не прочь поговорить. Однако Данциш был с ним осторожен. Он бросил на него взгляд исподтишка, и мельник почувствовал, как внутри вновь шевельнулось зернышко страха.

Жандарм притворно улыбнулся. Гицэ понял, что неприятности еще не кончились.

Пятница, суббота, воскресенье; огонь утих, но не потух. В золе еще поблескивали искры. Нужны были кузнечные мехи, чтобы опять поднялось пламя, но мехов не было. В понедельник начал моросить мелкий, пронизывающий сентябрьский дождик. Мужики, промокшие до костей, возвращались домой с резки кукурузы, женщины ругались по дворам; малыши путались у них под ногами, и они шлепали их и гнали домой. Скользя по грязи, жены помогали мужьям разгружать початки. Платки их сползали на затылок, и женщины так и сыпали бранью направо и налево. Кукурузы уродилось мало, да и та ожидала теперь под дождем, когда придет в голову Трехносому делить ее. Крестьяне говорили, будто бы зашла речь о новом порядке в работе. Вместо

трех частей помещику и двух крестьянину, отдавать, мол, крестьянину четыре, а помещику одну: хватит мироеду и этого. Теперь, после перемирия с русскими, земля, мол, если послушать людей, что сторону народа держат, должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, а права мироеда надо урезать. Поэтому все подбивали друг друга забрать разом кукурузу без разрешенья барина, оставив ему, сколько сами сочтут справедливым. И сделали бы, пожалуй, так, но побаивались Данциша, уж очень ревностного к службе.

В понедельник ночью пошел дождь, лил он и во вторник. С юга, застилая небо, тянулись серые тучи, клубясь над Дрофами. Тоска и мокредь нависли над землей.

Во вторник к вечеру Аниняска услышала стук в дверь и вздрогнула. Она боялась грабителей и сидела запершись. Потом ей послышался жалобный голос. Кряхтя, поднялась она и поспешила открыть дверь. Может, Настасия! И правда, это была Настасия, с большим мешком, накинутым, как башлык, на голову и плечи, в подоткнутой юбке, в постолах, полных грязи.

— Это ты?

— Я, крестная. Слава богу, добралась. В ноле грязь и вода, думала, что не дойду.

— Хорошо съездила?

— Хорошо, крестная, только умаялась — спасенья нет.

— Рада?

— Рада. Митрю видела. Побыла с ним немножко. Он готовится к отправке.

— Где вы встретились-то?

— У него на квартире. Он один живет. Комната у него хорошая. Он унтер-офицер, крестная. Только худой он. Желтуха у него была; от усталости это.

Они вошли, заперлись. Занавесили окна. Свет шел только от печки. Настасия торопливо сбросила с себя всю одежду. Уца Аниняска вынула из сундука сухую смену, завернула девушку в кожух и, закутанную, усадила на низенькую табуретку поближе к огню.

— Вот так, ласточка моя, согревайся и рассказывай. Рассказывай, а я соберу тебе чего-нибудь поесть.

— Я есть не хочу.

— Ну-ну, тебе нужно сил набраться, чтобы рассказывать.

— Нечего мне рассказывать, нечего говорить. Видела я его, вот и все.

— А от меня поцеловала?

— Ой, крестная, забыла.

Она засмеялась и поправила волосы на виске. Под платком за левым ухом еще виднелся увядший цветок герани, оставшийся от того часа, который она еще так страстно переживала.

— Говоришь, он болен, что ли?

— Да. Но сказал, что теперь прошло.

— Легко, ласточка, не проходит. Прошло, когда тебя увидел. Чтобы по-настоящему выздороветь, ему нужно давать печенку от черной телушки трижды в неделю и настойку зверобоя три раза в день. Можно и от белой телушки, только была бы печенка.

— Я знаю, крестная. Да разве во время войны достанешь то, что надо? Он говорил, ему полегчало теперь. Врачи хотят послать его в госпиталь. Да он не хочет! «Выполним раньше свой долг, — говорит. — Пойдем вперед. Как выполним, тогда, мол, вернусь к себе в Малу Сурпат; нужно мне там счеты свести», — говорит.

Аниняска покачала головой, пристально глядя в огонь. Она прошептала:

— Увидеть бы его сначала здесь здоровым да свадьбу сыграть. А больше ничего мне не скажешь?

— Нет, больше ничего.

Крестная взглянула на нее исподтишка. Наста-

сия опустила веки. Черные, словно пиявки, брови Уцы пугали ее.

— Народу было в поезде — иголке негде упасть. Чуть богу душу не отдала. Все же нашлось мне местечко.

— Это, девонька, ты оставь. Уехала, приехала — ну и все. Теперь скажи, согрелась ли ты? Хорошо себя чувствуешь?

— Да, крестная.

— Переспи эту ночь здесь. Подумала ты, что завтра нужно идти на мельницу?

— Не думала, но пойду, делать нечего.

— Ты знаешь, крестница, какая тут кутерьма поднялась после твоего отъезда? Розыски были, искали тебя по колодцам, в омутах Лисы. Гицэ Лунгу совсем раскис. Все село их подозревало: его и твою сестру.

Девушка злорадно засмеялась, показав белые зубки.

— Митря, когда узнал, как я уехала, сразу подумал, что быть на селе суматохе. Он мне говорил, что нехорошо будет, если узнают в селе о нашей встрече; как бы из-за этого не стали на меня наговаривать.

— Понимаю.

— Он советовал сказать, что ездила, мол, в Бу-

харест разузнать про него как невеста. Узнать, жив он или убит и где находится. Что была, мол, в штабе дивизии. Не знаю, какая улица — забыла, как он говорил. Узнала, мол, я, что он жив, а тогда и вернулась.

Аниняска, не сводя с нее глаз, одобрила:

— Так оно лучше будет.

Они все говорили и говорили и так засиделись допоздна. Уца уложила крестницу, хорошенько закутала ее и дождалась, пока та заснула. Когда пропели полуночные петухи, Уца встала, неслышно подошла и наклонилась послушать, как дышит девушка.

Рано утром крестная оделась получше. Дождь еще лил. Она оставила Настасию спящей, заперла ее одну в доме и пошла в село. Через полчаса она привела Данциша.

Девушка умылась, причесалась и поправляла на себе высохшее у печки платье.

Увидев жандарма, она испугалась. Уца Аниняска сделала ей знак ничего не бояться. Данциш поздоровался, однако смотрел сурово.

— Где это ты была, Настасия?

Девушка слегка повернула голову, чуть прищурив глаза. Как это он с ней разговаривает? Ишь какой! А ведь он и чином ниже Митри.

Она смело откликнулась:

— Что-то не расслышала, как вы сказали.

Аниняска от удивления чуть даже не перекрестилась. Но только прикрыла рот ладонью, чтобы не прыснуть со смеху. Встретив взгляд Данциша, она подмигнула ему. Данциш ответил тем же. Это был пройдоха с берегов Амарадии. Его братья продавали овощи на улицах Бухареста.

— Где ты была, барышня Настасия?

— Да так, в Бухаресте, узнавала кое о чем.

Вмешалась Аниняска:

— Я уже говорила господину жандарму.

Девушка приободрилась. Хотела сказать все, как советовал ей Митря. Но жандарм остановил ее:

— Прошу, прошу — больше не надо. Я все понимаю. Но ты неразумно поступила, барышня. Вдруг исчезнуть так неожиданно, не известив никого! Я уж думал, ты с отчаянья убежала или еще что похуже задумала. Искал тебя в колодцах и в Лисе. Писал письмо в Цигэнешть.

Девушка удивленно смотрела своими большими, невинными глазами. Снова вмешалась Аниняска:

— После, когда Митря отслужит свою службу и вернется, мы их поженим — я с моим братом

Маноле Рошиору.

Данциш сделал вид, что очень рад:

— Прекрасно, прекрасно. Ну, так покончим со всей этой неразберихой. Мы все немножко были не в себе, погорячились. Хорошо, дождь пошел и охладил нас. Льет как из ведра. Как я понимаю, Гицэ еще ничего не знает.

— Наверно… — ответила девушка, поджав губы.

— Не знает, — успокоила представителя власти крестная Уца ласковым голосом.

— Тогда я пойду скажу ему. У меня к нему и другие дела есть.

— Хорошо. Вы знаете, как и что нужно сказать.

— Само собой понятно. «Не трогай девушку; хорошо, что вернулась; забудем обо всем».

— Данциш хитрый олтенец{10}, Настасия, — заметила крестная, повернувшись к девушке.

Крестница равнодушно улыбнулась, поправляя за ухом заветную герань.

{10} Комментарии: 10

Олтенец — уроженец области Олтения.

Глава семнадцатая
У кулака на мельнице мелются зерна, пересуды и напасти

Настасия вернулась на мельницу полная бодрости; казалось, в душе ее распустился цветок. Но цветок радости вскоре увял, лишенный солнечного света. Воспаленные глаза Гицэ подстерегали ее, а сестра Станка едва сдерживала затаенную до поры до времени злобу. По утрам Настасия убирала и помогала по хозяйству ровно столько, чтобы не быть в долгу за пищу и кров, которые ей давали. Она больше не думала о своих правах на землю, доставшуюся ей по наследству. Землей этой владел Гицэ, который вцепился в нее, словно медведь в телушку. Вырвать хоть что-нибудь из его лап никто не был в силах. По ее мнению, только Митря мог это сделать — такой он стал мужественный и сильный. Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, что «его мать родила, а не курица снесла», как говорила старая Кица, жена Тригли. Старуха давно уже, еще с тех пор, как лежал он осенью в Дрофах, весь избитый, увидела в нем ту силу, которая развилась теперь.

После обеда Настасии было легче, она убегала к крестной Аниняске с прялкой или с вязаньем. Там, слушая ее советы и рассказы, она снова обретала спокойствие. Стояли тихие дни конца сентября; голубое небо было кристально чистым. Курлыкали журавли, проплывая на юг. Настасии казалось, что эти журавли летят оттуда, где еще сражаются люди, где стреляют и убивают друг друга. Про себя она молилась за Митрю. Она ни минуты не сомневалась, что такой человек, как он, вернется домой, в Малу Сурпат: ведь он достоин этого, а главное — ведь она любит его. Когда пришла пора октябрьских дождей, послеобеденные часы в доме крестной стали грустными. Настасия осунулась, крестная Уца пристально поглядывала на нее.

— Мне ты можешь, ласточка, сказать, что с тобою…

Настасия склоняла свою голову, увенчанную косами, и сдерживала рыдания. Она подозревала, хоть и не была еще уверена, что в ней зародился ребенок. Радостные воспоминания перемежались у нее с минутами грусти, минутами печали, страха перед людьми, особенно страха перед сестрой Станкой и перед Гицэ, от которых она все еще зависела.

Для мельника же мысль о Настасии была еще не такой острой занозой, как заботы и новые неприятности, возникшие с началом той осени.

Пошло все от механика Франца.

Вдруг ни с того ни с сего немец решил уйти. Забрал без ведома Гицэ весь «второй гарнцевый сбор» и спустил кому-то — скорей всего корчмарю, за долги, которые были записаны на него. Гицэ даже посинел от злости и схватил немца за грудь, но тут сам крепко ударился затылком о деревянную балку, когда немец оттолкнул его, ругаясь на своем скрежещущем языке. Что тут делать: немец пригрозил ему, что пойдет в примэрию, заявит о воровских проделках на мельнице. Дело в том, что, когда крестьяне высыпали зерно из мешков в воронку, некоторая часть зерна утекала через тонкую трубку, вделанную в воронку, так что придачей к обычному сбору был ловко задуманный «второй гарнцевый сбор». Гицэ послал немца к черту и больше не ломал себе голову: пусть уходит. Франц Кранц ушел тайком, и никто его больше не видел. Через несколько дней после этого происшествия поступил из министерства внутренних дел секретный приказ, сразу же ставший известным всему селу: «Означенного Франца Кранца немедленно арестовать», ибо он

является, мол, замаскировавшимся шпионом.

У Гицэ ноги подкосились. Иди теперь в примэрию и давай показания. Да еще давай объяснений в жандармском участке, доказывай, что не имел ни малейшего понятия о его шпионских делах и что даже о его проделках с помолом не знал. Мошенничество всплыло наружу, и по селу пошли пересуды. Гицэ сдуру обещал людям возместить какую-то часть убытков. А как? По приходной книге… Черт бы побрал этого Франца! Лихоманка бы взяла этого Кранца! Кто мог знать, что он будет грабить румын, когда те приходят молоть зерно на мельницу честного человека? Кто мог вообразить такую подлость? Да поймай Гицэ этого вора на месте, он так бы стукнул его кувалдой, которой бьют камни, что тот бы и не пикнул, а румынская страна избавилась бы от такого бандита да еще шпиона. Надо обязательно разыскать Франца, пускай объяснит, как он все это проделывал. Надо расследовать, не применяли ли такую хитрую выдумку и другие здешние мельники-конкуренты. Он, Гицэ, лишь пожимал плечами: не знал, не ведал ни о чем, разрази его бог, если он знал что-либо. Некоторые крестьяне, однако, подозревали, что Гицэ знал обо всем: ведь это его мельница, и не мог же не заметить хозяин уловок механика.

Вот когда найдут его Франца и приведут на место преступления, увидите, что тот выведет Лунгу на чистую воду.

Неожиданно разнесся слух, что Франца нашли. Пришла Ана, вдова Лайу, которого как-то в суровую зиму заели волки в оврагах Лисы. Прежде чем сбросить с плеча мешок с кукурузой, она еще на улице выпалила эту новость. Гицэ у себя в доме как услышал это, так и сел от страху. Вслед за Аной Лайу приехал Захария Адам в тележке, на белой кобыле. Мельничиха Станка выскочила на крыльцо. Она навострила уши, чтобы узнать, подтвердится ли весть о Франце. Захария тоже закричал:

— Эй, кум, Франца-то нашли! Свалился в какую-то яму, как переходил мосток через речку у Спрэвала. Видно, пьян был. И воды-то по щиколотку, не больше. Упал головой вниз, рот полон тины. Раздет донага; собаки его погрызли. Ни денег, ни документов при нем не нашли.

Гицэ, немного приободрившись, вышел из дому, чтобы запустить мельницу. Хоть этому-то он научился от вора. Подошли и еще крестьяне молоть зерно, собрались в кружок под навесом. Лошади похрустывали соломой у задков телег, время от времени взмахивая головами; одни

фыркали, другие останавливали спокойный взгляд на взволнованных, шумных людях.

Что скажешь про это, Лунгу?

— Что же сказать, братцы? Божье наказанье за содеянное. Из-за него, брат ты мой, у меня волосы седеть стали. Ночей не спал. Так уж ему на роду было написано за все его грехи — захлебнуться в пригоршне воды. Слышал я от кума Захарии…

Стойка Чернец, только что вылезший из телеги, услышал, что бормотал мельник. Он подошел с кнутом в руке:

— Что тебе говорил Захария, Гицэ Лунгу?

— Что нашли утопленника — моего Кранца, всего изглоданного. Не слыхал разве?

— Как же, слыхал от жандармов. Из города приехали прокурор и доктор. Пошли осматривать тело, теперь уж вернулись. Немца твоего свои же убили. Рассчитались с ним, забрали деньги, документы и ушли. Все узнали от бегущих немцев, которых позавчера поймали. Они-то и обобрали Франца и расправились с ним. Признались без допроса.

Лошади и люди безразлично выслушали новости Чернеца. Гицэ Лунгу стоял некоторое время в задумчивости, выпятив губы. Ветер шелестел стручками двух безлистых акаций у мельницы и

нес редкие хлопья снега. Чернец поставил повозку в сторонке, распряг лошадей, а сам все время поворачивал голову к навесу, прислушиваясь к разговору.

— Ну, что скажете про это? — спросил он, подходя к людям. — Навалилась этим летом на Гицэ Лунгу беда, сумел он себя обелить, хотя с лица, бедняга, аж посинел от злости. Теперь вторая беда. И в этот раз он чист. Убили Кранца убегающие немцы — за дезертира его признали.

— Уф, уф, — пыхтел мельник, разомкнув пухлые губы. — И хорошо сделали!

Чернец удивился:

— А почему, Гицэ Лунгу? Разве и он не был бедным человеком, спасавшимся от войны? А наши, что устлали своими трупами русские поля, разве хотели войны? Кто ее хочет?

— Мой немец был бандит. Обобрал меня до нитки!

— А ну, погляди на меня, Гицэ Лунгу, и повтори эти слова еще раз.

Люди вокруг мельника ухмылялись. Ана Зевзяка громко расхохоталась.

— Обобрал меня, обобрал до нитки! — причитал мельник, поднимая к ушам свои согнутые пальцы.

— А он-то разбогател, что ли?

— Разбогатеть не разбогател, а меня обобрал.

— Ну, не за это его ухлопали, его ухлопали из-за ихней войны. Жестокий народ! Когда раньше они приезжали сюда в село или в именье, казались людьми вроде нас. А что понаделали, будь они прокляты на веки вечные, и у нас и в других местах, где только ни были! У сербов, в Польше, у французов и у всех, кого поработили… Грабили, поджигали, подкладывали динамит, барабаны делали из кожи евреев. Такого опустошения и горя не помнят со времен татар, которые развешивали человеческие кишки по частоколам.

— Крепкая нация, — вдруг выпалил мельник.

— Почему же, Гицэ Лунгу?

— Я скажу тебе почему: сильный берет силой, а умный — умом.

— Эх, Гицэ Лунгу, это, видно, твой закон? Знаешь небось, как мучились наши деды, как исстрадались мы сами, как опустели наши села и сколько осталось беспомощных вдов и стариков, — а еще смеешь хвалить немцев!

— Что ж, я только со своим не ладил, а те немцы, что у Гитлера, люди дельные!

— Да ты что, Гицэ, не слыхал, что ли, какие произошли перемены? Прошло время, когда кто

посильней, тот и господствовал и людей угнетал. В России, как спихнули помещиков и живоглотов, сразу же пришла справедливость для трудового человека. Кто работает — тот и ест, кто не работает — тот не ест. Забота о труженике, о том, кого и жара палит, и вьюга обжигает, у кого руки в мозолях, — вот, Гицэ Лунгу, какой новый закон большевики установили. Немцы берут силой, а они — справедливостью. И как немцы ни сильны, а лупят их, разбивают в пух и прах, потому что поднялась вслед за русским народом сотня других народов и бьются, Гицэ Лунгу, все эти сто народов за правду, в боях добытую. И от нас они немцев прогнали. Настанут и для нас новые времена, избавимся мы от мучений, в которых живем.

— Нет, — снова осмелел Гицэ, — по справедливости, крепкому хозяину так и положено богатеть, а бедняку стягивать с него сапоги.

Чернец хлопнул кнутом по земле.

— А разве хозяин Хаджиу честный человек? — спросил он, снова щелкнув кнутом. — Не видел я, чтобы большое богатство когда-нибудь честно было нажито. Трехносый ни к чему руки не приложил, лопатой не копнул. Рабы на него работали. Он жрет, а рабы голодные сидят, потому что заработок наш не на справедливости основан, а

на эксплуатации. Погляди-ка на Ницэ Немого…

Неподалеку, весь съежившись, стоял крестьянин, с лицом такого же цвета, как и земля, по которой он ходил, взъерошенный, словно еж, с круглыми испуганными глазами. Прозвали его Немым потому, что, бывало, часами он слова не вымолвит.

— Погляди-ка на Ницэ Немого, — продолжал Чернец. — Чтобы вырастить своих детишек, он стал рабом. Эй, Ницэ, выдалась ли тебе хоть минута радости, с тех пор как ты живешь?

— Нет… — прохрипел Ницэ глухим, словно из-под земли выходящим, страдальческим голосом.

Кто-то спросил, насмешливо улыбаясь:

— Даже той весной, когда и сам расцвел?

Серая тень молчала, погрузившись в бесконечную муку своей души.

— Это один, — воодушевился Чернец. — А нас много таких, как он. Ницэ вырастил пятерых детей! И всех потерял на войне. От этого его жена помешалась. Ей все мерещатся погибшие дети, словно пушистые цыплятки. Она все зовет их: «Идите сюда, к маме», — и прикрывает их руками, как клуша… А брат твой, Гицэ Лунгу! Разве не был он столько лет рабом в Хаджиу, разве не спал там на земле, не зимовал почти нагишом, разве

ел когда-нибудь досыта? Ведь он там со смертью чуть не спознался…



М. Садовяну

— По своей глупости, — злобно пробормотал Гицэ Лунгу. — . Мог бы и богатство нажить… А теперь ты поджидаешь, когда мой милый братец-дурачок вернется. Он тоже остер на язык. Вот вы объединитесь вдвоем и организуете свою партию.

— Зачем нам организовывать партию, когда она уже есть? Это — партия трудящихся.

— Всему, что ты говоришь, Чернец, научился ты у своего брата котельщика, — пробубнил мельник. — Ты что ж, хочешь, чтобы государственные дела молотками вершили?

— Конечно, — вызывающе подтвердил Чернец. — Одни молотками до самого неба достучатся, а другие плугами все распашут, до самых райских врат.

— Значит, те, что по тюрьмам сидят, министрами станут?

Голос у Чернеца стал мягче.

— Эх ты, Гицэ, неужели и про это не слыхал? Ведь уже вышли они из тюрем и взяли вожжи в свои руки… И мы тоже избавимся от страданий. Взойдет солнце и для тех, у кого глаза оставались, только чтобы плакать…

Гицэ надулся и нахмурился. Потом тяжело вздохнул.

— Я не вмешиваюсь, — сказал он с кривой усмешкой, — я мельник, мое дело — запускать жернова, чтобы молоть вам муку — и пшеничную и кукурузную.

Мотор начал стрелять в черное небо, сквозь завесу мокрого снега, уносимого резкими порывами ветра. Мельница перемалывала зерно, а люди говорили и говорили. Все были взволнованы и обрадованы тем, что сообщил Чернец. Они знали, что советские войска, с которыми побратались и румыны, пробиваются к берлоге тех, кто терзал людей, как голодные волки. Пока немцы господствовали над румынами, купцы безжалостно обирали народ, помещики и фабриканты стали еще беспощаднее. Вот бы спихнуть, как говорил Чернец, жадную свору, а тех, что страдали по тюрьмам за правду, поставить теперь у власти, и тогда воспрянут люди, изнемогавшие от рабского труда на фабриках и на полях.

В укромной ложбинке женщины развели костер из хвороста. Все ожидавшие своей очереди собрались в кружок, чтобы огонь обласкал хотя бы лицо, потому что в спину все еще хлестал ветер. Возле трепещущих крыльев пламени

отогревались и, казалось, снова обретали человеческий облик такие горемыки, как Ана Зевзяка и Ницэ Немой.

А в закрома Гицэ текло больше напастей, чем муки. Когда он кончил молоть и все ушли, прямо на него выскочила из дома Станка. Она визжала, выпучив глаза и так широко разевая рот, что тонкий визг ее едва был слышен. Станка затащила Гицэ в пристройку возле мельницы.

— Ты знаешь, Гицэ, она набросилась на меня, хотела глаза мне выцарапать!

— Кто? Сестра твоя?

— Она! А кто же еще! Чтоб у нее руки отсохли, чтоб ее змей девятиглавый поразил.

Вдруг мельничиха умолкла, с удивлением глядя на мужа: Гицэ не вскочил, даже глаз не выпучил. Он мотал головой, прикрыв уши ладонями, будто испытывал жестокие муки.

— Что с тобой, Гицэ?

— Оставь, не знаешь, что ли? Уж от кого только мне не достается… И вот тут еще… Ну, говори, что случилось?

Станка снова вошла в раж, но Гицэ так жалобно смотрел на нее, что порыв ее ослабел.

— Позавчера перебирала я ее одежу, пока она сидела у своей крестной, — чтоб помереть ей

поскорее! — и нашла у нее в кожушке письмо.

— И что ж, прочитала его? — попробовал пошутить Гицэ.

— Без тебя обошлась, — окрысилась Станка, задетая насмешкой, — узнала, что она от меня скрывает. Ишь проклятая, ученой стала! Мне-то ведь ничего не говорит. Она все с Аниняской шепчется.

— А зачем говорить тебе? Ведь живете вы как кошка с собакой!

— Живет она в моем доме, Гицэ, словно враг какой. Пригрели мы на груди змею. Есть, верно, в этом письме что-нибудь, думаю, и скорей к жене попа Нае. «Матушка, говорю, хотела бы я знать, что здесь в этом письме. И так, чтобы только я одна знала, а другой никто. Это секрет». Попадья раскрывает письмо, смотрит в него и смеется. «Что такое?» — спрашиваю. «Ничего, Станка. Это письмо от деверя твоего Митри. Пишет, что с той поры, как встретились вы в Сибиу, никак не может забыть эту встречу…» — «Упаси бог, матушка, не мне он это пишет, а сестре моей Настасии…» — «А я-то удивляюсь, — говорит попадья. — Так оно подходящей. Видно, было это тогда, когда искали вы ее по ямам да омутам». — «Правда ваша, матушка, а она-то врала, что только в Бухарест

съездила. Прошу вас, матушка, чтоб никто не знал, что написано в этом письме, а то засмеют нас на селе». — «Будь спокойна, — говорит попадья, — это семейная тайна; буду молчать как могила». Ну вот, Гицэ, она так молчала, что вчера вечером наши кумушки уже все знали. Сегодня утром пошла Настасия к Аниняске. А на селе ведь видят, когда она уходит из дому, когда возвращается, и многие поджидали ее у ворот. Не посмотрели ни на ветер, ни на холод, чтобы, как водится, зацепить словцом. Нагнула она голову и бегом к мельнице, вихрем влетела в дом и сразу к своему кожушку. «Где мое письмо?» — визжит. «А ты не меня спрашивай, говорю, и не вопи». — «Где мое письмо? Отдай мне письмо. Украла письмо и всем показала!» Набросилась на меня, хотела глаза выцарапать. Схватила кочергу, ударила меня. Я бежать, она за мной! Вижу, она точно ведьма какая, бросила я ей письмо. Пока она наклонялась поднять его, я — в другую комнату да на засов. «Расшибу топором дверь!» — кричит и ругает меня на чем свет. Потом побежала к своей Аниняске. Вот я и пришла рассказать тебе, какая у меня сестрица.

Станка горько вздохнула. Гицэ ждал, когда она успокоится.

— Вот оно как, Гицэ! Что ж ты ничего не говоришь?

— Что говорить? — устало ответил мельник. — Ведь письмо ты брала.

— А из этого письма, Гицэ, я еще кое-что узнала, — сладко запела Станка. — Свершится вскоре то, о чем я с недавних пор догадываюсь. Скоро снесет хохлаточка яичко с глазками и с бровками.

Глава восемнадцатая
Котельный мастер Войку Чернец приезжает по делам в Малу Сурпат

Жил в Бухаресте коммунист-подпольщик, котельный мастер Войку Чернец, брат Стойки. Из Малу Сурпат бедность его выгнала, много пришлось ему пережить, наконец стал он квалифицированным рабочим и с партией породнился. У этого сурового человека густые брови были всегда нахмурены; пошутить он любил, но сам никогда не улыбался.

Когда его арестовали в первый раз, следователь спросил его иронически:

— Знаешь ты ваших философов? Читал ты их?

— А тебе что? Знаю, — поспешно ответил котельщик. — Знаю их, читал.

— Как ты смеешь так отвечать? — обозлился следователь. — Гляди у меня!

— А ты зачем меня оскорбляешь? Тыкаешь мне, хотя овец мы вместе и не пасли.

— Ну-ну, брось свои дерзости, а то будем по-другому разговаривать. Отвечай, Чернец, каких

философов ты читал?

— Канта читал.

— Канта? Не слышал. А что говорит этот твой философ Кант?

— Правильно говорит: что все рабы на земле — братья, какой бы нации они ни были.

— Это он тебя научил листовки по ночам расклеивать? Это он их тебе дал? Ты знал, что там написано?

— Во-первых, Кант мне ничего не давал. Во-вторых, никаких листовок я не расклеивал. В-третьих, ночью читать нельзя, потому что темно.

Следователь внес фамилию философа в протокол. Прокурор упомянул Канта в обвинительной речи. Защитники воздержались от обсужденья его доктрины.

В черные годы заключенья Войну Чернец зубами держался за жизнь. Каждое утро он занимался гимнастикой и обтирался холодной водой. Свои познания он обогатил в тюремных университетах. Сидя в карцере Дофтаны{11} за бунт, он целый год так и не ложился на цемент, оберегал от простуды свои легкие. Спал Войку, сидя на корточках

{11} Комментарии: 11

Дофтана — политическая тюрьма в буржуазной Румынии.

в углу и скрестив руки на коленях. Вши ели его до того, что на коже появились язвы. Одиночество терзало ему душу. Но он держался мужественно, верил в коммунизм и вынес все.

Некоторые товарищи недоумевали, что за философа назвал Чернец. Ведь, конечно, речь шла не об отшельнике из Кенигсберга.

— Конечно, нет, — отвечал Войку без тени улыбки. — Я говорил только о моем приятеле из Галаца, Филиппе Канте. Летами он был постарше меня, и многому я у него научился. Я и сейчас храню о нем память и иногда хожу навещать его могилу.

Выйдя из тюрьмы под августовским солнцем в 1944 году, он сбрил бороду и помолодел. «Дядя Войку», как называл его младший брат, крестьянин Стойка Чернец из Малу Сурпат, получил однажды в партийной ячейке письмо от одного из своих молодых учеников, которого считал погибшим в России.

Он очень обрадовался. Смотри-ка, мой Костя Флоря жив!

Это письмо пришло откуда-то с фронта, из Чехословакии. Оно было вручено какому-то товарищу Фаркашу Эндре, и тот довез его до Орадя. Из Орадя до Брашова его вез другой товарищ — Маркус Фо-

гель. Из Брашова, наконец, его доставил монтер Илие Хон-чану и вручил адресату.

Костя Флоря писал:

> «Дядюшка Войку, да будет тебе известно, что среди всех невзгод, перенесенных нами, обрел я себе деревянную ногу, которой вполне доволен, потому что ею буду стучаться в ворота Берлина».

Много кое-чего было еще там написано о войне и о немцах. Были и такие строчки:

> «Есть у меня приятель — крестьянин из Малу Сурпат. Я знаю, что и ты родом оттуда, есть у тебя в Малу брат, не то родной, не то двоюродный, которого товарищ мой, оказывается, знает.
>
> Мой Митря Кокор чего только не натерпелся. Сам знаешь, что приходится переносить несчастному бедняку у нас в деревне: страданья, побои, издевательства. Он грозится, что если вернется здоровым, то сдерет кожу с ихнего барина из Малу Сурпат, чтобы хоть немного на душе полегчало.
>
> Он говорит так, чтобы дать выход свое-

му гневу: очень уж у него и другого горя много. Есть у него еще забота: невеста осталась на попеченье брата его, мельника. Так этот мельник забрал себе его землю — родительское наследство, а потом разгорелся у него зуб и на наследство девушки-сиротки, его свояченицы. Мельник с женой притесняют бедную девушку, гонят ее вон.

Я подумал, что, может, выдастся тебе случай побывать в родной деревне. Так ты защити бедную девушку, невесту Митри. Ему как солдату приходится на фронте немало терпеть, а теперь нет ему, бедняге, покоя ни днем, ни ночью — за невесту тревожится. А еще подумал я: может, хоть напишешь ты своему брату, пускай разузнает, что там с этой девушкой.

Обращаюсь я к тебе с такими просьбами, потому что Митря Кокор наш парень. Он все видал в Советском Союзе, когда мы с ним вместе были в плену. Мне уже нечего было его наставлять, он и сам все уразумел. Повторяю, мы должны помочь ему, как настоящему товарищу, который еще покажет себя».

Много было и других хороших слов в письме о Митре. Мастер Войку пожал плечами. Он был занят сверх головы общественными делами, и в особенности организационными вопросами. Где уж тут ездить в Малу Сурпат из-за невзгод каких-то юнцов.

Он отложил письмо в сторону. Вскоре пришло другое, в котором ученик справлялся о его здоровье и сообщал, что они с Митрей живы и здоровы. Получалось так, что и этот Митря стал в некотором роде учеником и товарищем мастера.

«Вот чертов Флоря, — подумал мастер Войку. — Знает он меня. Стучится своей деревяшкой не только в ворота немецких крепостей. Прямо в душу мне стучится. Ладно, посмотрим!»

Второе письмо он тоже отложил в сторону. Прошло много недель, пока мастеру Войку выдался случай и он сумел выкроить время для поездки.

В один из февральских дней 1945 года Стойка Чернец открыл калитку у Аниняски и прошел через заснеженный двор, подталкивая перед собой незнакомца в шубе и островерхой шапке. Увидев глаза этого незнакомца, запавшие под мохнатыми бровями, и его гладко выбритое лицо, словно высеченное из камня, женщины, выглядывавшие из окна, оробели и отступили назад.

Настасия запричитала, ломая пальцы:

— Кого это ведет Стойка? Что за беда стряслась? Что случилось?

— Крестница, держи себя в руках, — с укоризной обратилась к ней Уца. Но и у нее тревожно забилось сердце. — Ничего плохого быть не может. Стойка нам друг.

Настасия застонала:

— Господи, только бы не дурные вести, крестная, родненькая! Когда проснулась я утром, у меня левое веко дергалось. Ночью все Митря снился.

— Дурные вести приносит почтальон, жандарм или мельник, ласточка.

— Он во сне все смеялся, крестная.

Беспокойство охватило и Уцу. Смех во сне — горе наяву!

Стойка Чернец и его товарищ отряхнулись на крыльце от снега. Собака, сидевшая на цепи, два раза лениво тявкнула и умолкла.

Уца удивилась:

— Что же это на них собака не брешет?

Настасия зашептала:

— Она было залаяла, а чужой как заговорил с ней, так Гриву и затих.

Аниняска поправила на голове платок, взгля-

нула на себя в осколок зеркала, сунула ноги в шерстяных чулках в чеботы и вышла в сени встречать гостей. После первых же слов незнакомца она успокоилась.

— Мир вам и добрые вести.

Настасия прикрыла глаза ладонями и прислонилась затылком к печи. Бледная и подурневшая, она казалась смущенной; талия у нее располнела. Незнакомец окинул ее быстрым взглядом, потом снова обратился к крестной:

— Узнаешь меня, Уца?

— Как будто бы… как будто… — едва прошептала Уца, начиная с улыбкой что-то припоминать. — Ах! Ведь ты мастер, брат Стойки. Когда-то ты носил бороду… А теперь словно другой человек…

— Все тот же Войку, — засмеялся мастер. — И все-таки ты права — того, что раньше был, уже нету.

Вздохнув, Уца почему-то опустила голову.

— Скажи-ка нам, чернобровая, — продолжал мастер веселым тоном, — где мы можем сбросить все это с себя? А потом и поговорим.

Аниняска тут же свалила в кучу на постель, поближе к печке, всю их одежду. Снуя туда и сюда, она слегка подтолкнула локтем Настасию.

У девушки еще сильнее затряслись плечи от рыданий…

Мастер остался в сапогах и серой вельветовой куртке. Он повернулся вполоборота к Настасии и, казалось, был немного смущен. Правой рукой он провел по седым, коротко остриженным волосам, левой вытащил из кармана трубку. Набил ее табаком. Достав зажигалку, он щелкнул ею — появился огонек. Девушка искоса, с любопытством смотрела на маленькое чудо в руках неизвестного. Стойка подошел к ней:

— У него новости от Митри…

Она подняла голову и глянула на блестящий снег во дворе. Потом опять закрылась ладонями.

— Чернобровая, скажи девушке, чтоб не стыдилась, — ласково проговорил мастер Войку.

— Слышишь, девонька, как зовет он меня по старой памяти? — развеселилась крестная Уца. — Смешно теперь, в мои-то годы.

Девушка продолжала всхлипывать.

Мастер выпустил через нос две струйки дыма и поднял густые, еще черные брови.

Значит… воспоминания о былом одной и девичий стыд другой — более важные вопросы, чем падения государств и мировые войны…

— Известия от парня получали? — спросил он

Аниняску.

— Да. Два раза он и деньги посылал.

Девушка зарыдала:

— Давно уже письма не было.

— А с каких пор?

Настасия снова отвернула голову.

— Да с неделю, — ответила Аниняска. — Теперь на фронте уже никакой опасности нет.

Наступило молчание.

— Принесу чего-нибудь закусить, — поднялась Аниняска.

— Потом, потом, Аниняска, — удержал ее мастер. — Погоди. Я приехал в Малу Сурпат по своим политическим делам. Но мне писал один мой ученик, друг унтер-офицера Кокора, что этого парня кой-что тревожит здесь у вас. И вот раз я приехал сюда, то решил сам посмотреть, что и как. Сначала повидался я с братом моим Стойкой. Он мне кое-что рассказал. Мы вместе побывали на мельнице.

Настасия опустилась на пол и заплакала навзрыд.

— Выгнали меня, в самые крещенские морозы.

Аниняска обняла ее за плечи и стала утешать.

— Мне сказали, что девушка здесь. Я и пошел проведать ее. Но сначала я спросил Лунгу про

землю его брата. Он туда-сюда — дескать, за эту землю он с братом рассчитался и даже тот у него в долгу, так что они сочтутся, когда вернется Митря, если только он вернется.

— Слышите, люди добрые, — охнула крестная Уца, наклоняясь над девушкой.

— Когда речь зашла о девушке…

Настасия еще больше съежилась, но, вся превратившись в слух, перестала плакать.

— Когда речь зашла о девушке… — продолжал мастер.

— Знаю, знаю, — возбужденно заговорила Аниняска, — она, мол, весь дом опозорила, на селе она — притча во языцех, родит незаконного ребенка. А какого такого незаконного? Это — дитя любви чистой. Законнее, лучше этого и быть не может.

— Твоя правда, твоя правда, — успокоил котельщик. — Наш закон защитит ребенка.

— Как он смеет говорить такие слова? — снова вспыхнула крестная Уца. — Чтоб его черти задушили! У-у, урод ненавистный…

Настасия приподнялась и на коленях подползла к незнакомцу. Она протянула к нему руки.

— Господи, — зарыдала она, — уж как меня поносят, как чернят на селе из-за моего ребеночка.

Мастер взял ее за руки и поднял:

— Девица-красавица, новый закон не даст в обиду твоего младенца.

У девицы-красавицы покраснели глаза и стали огромными, словно луковицы.

— Я сказал мельнику, что и смерть брата ему не помогла бы, — сурово продолжал мастер. — У брата есть наследник, который будет защищать свои права.

— Мальчишка будет, — объявила Аниняска, уперев руки в бока.

— Уж лучше девочка, — весело сказал мастер. — Ей воевать не придется. Будет рожать детей. Как я уже говорил, завел я речь с мельником о замужестве девушки, о том и о сем, припугнул его. Он обещал Настасии два погона земли из тех, что ей принадлежат.

— И на том спасибо, — вздохнула Аниняска.

Настасия воскликнула:

— Хоть на четвереньках, да обработаем ее!

Мастер, с каменным лицом, не сводил с нее глаз, как бы молча напоминая, чем будет она занята летом, и она снова застыдилась, но уже не так сильно.

В разговор вмешался Стойка Чернец:

— Придет лето, пройдет время, Войку. Я знаю, сколько горечи накопилось у Митри. Пусть толь-

ко поскорей приезжает. Я думаю, не стоит ждать, пока ненависть состарится.

— А у некоторых, — улыбнулся мастер, — злоба, как вино, становится крепче со временем. Что ты смеешься, не веришь?

Стойка не стал спорить.

— Я не смеюсь: может, ты и прав. Все, что ты сказал и сделал, это хорошо. Только не вздумай поверить обещанию Гицэ Лунгу.

Котельщик нахмурился:

— Ты думаешь, он меня обманет?

— Думаю, что обманет. Пойдет договорится с барином и сделает по-другому.

Мастер, казалось, взвешивал про себя эти слова.

— Возможно. Ну что ж, тогда, Стойка, дадим ему испить до конца вино нашей ненависти.

В комнате вдруг как бы потемнело. Всем стало страшно от этих слов. Сухой и ровный голос мастера звучал словно эхо, идущее из глубины минувших страданий.

— Несправедливость была им мать родная — так справедливость будет чума злая, — проговорил он, выбивая трубку о загнетку и вновь набивая ее. — Что ты смотришь, чего ждешь? — улыбнулся он Настасии и вытащил зажигалку. Он

не зажег ее и сунул обратно. Девушка надула губки. — Я предупредил в примэрии товарищей из ячейки, — продолжал Войку, — чтобы они были начеку. Собираются упыри, обдумывают, как бы помешать новым порядкам. Пусть разгонят их: рассыпься, нечистая сила, — заря занимается!

— Не послушаются они, — снова возразил Стойка.

Губы мастера сжались, глаза потемнели.

— Может быть; только голову потеряют. Ну, хватит об этом. Я приехал, посмотрел и оставляю Стойку за всем приглядывать. Если будет нужда — знаешь, где меня разыскать.

— Ну, теперь-то можно вас угостить? — вновь встрепенулась Аниняска. — Я поросеночка заколола. И вина припасла.

— Поостерегись, чернобровая, а то все съедим и выпьем, что в доме есть.

Глава девятнадцатая
Рождение нового кандидата в граждане мира

К весне 1945 года жители Малу Сурпат и их соседи испытали такие невзгоды, каких уже давно не бывало. Еще прошлой весной немцы все опустошили на своем пути, а теперь еще плохо уродилась озимая пшеница, да и засуха совсем замучила.

Из-за отсутствия влаги хлеб во многих местах взошел, словно волосы на облысевшей голове: здесь колосок, там колосок. Откуда-то взялись тысячи крыс, которые из борозд тащили семена в свои подземные амбары. Эти зверьки тоже чуяли угрозу голода.

В села и на хутора проникли и более опасные, двуногие крысы. Никому не ведомые люди, проходимцы, одни — в поисках кукурузной муки, другие — торгуя иконками и какими-то книжицами, проникали в крестьянские дома и разносили слухи, что вот, дескать, наступил для христиан конец света, пришел смертный час, с тех пор как поднялись большевики, зарезали своего царя и

заколотили гвоздями двери церквей. Душат они, мол, помещиков, крадут детей и отсылают их в пустыню; преследуют христиан, заставляют их умирать от голода, есть траву вместе со скотом; рушат они все устои; куда только не проникнут, на все ставят печать дьявола. И у нас, мол, они все переделают, и потому господь бог отвернулся от людей. Читайте, мол, про видение божьей матери и чудеса святого Сысоя и кайтесь в грехах своих.

Те из крестьян, кто был поумнее и не становился на колени перед попом Нае, не делал ему подношений, — те смеялись над всем этим. Это вранье, говорили они, помещичья партия распускает. Много еще в стране осталось людей из этой проклятой шайки, которые, как это знают бедняки, столько лет только жрали да жирели, а теперь перепугались, что грянет и над ними великий гром справедливости и полетят они в тартарары — и освободится страна от их черной злобы.

Стойка Чернец разъяснял, к чему стремится коммунистическая партия: «Уничтожить эксплуатацию человека человеком!» Эта партия занимала все большее место в правительстве, оттесняла все дальше тех, кто жирел вчера. Партия разделит землю, говорил Стойка, издаст справедливые законы. Теперь, говорил он, до

нас доходит правда о жизни в Советском Союзе. Оттуда прибывают наши люди, повидавшие своими собственными глазами новый порядок там, на востоке. Все мироеды, все, кто наживался на несправедливости, там уничтожены; только для трудящихся, которые держат в руках серп и молот, светит там солнце. Те, кто были рабами, стали там хозяевами. Видно сразу, что нынешние торговцы иконками и всякие бродячие люди — это наемные слуги, которые стараются, чтобы остался наш народ в трясине обмана и во сне рабства! Если бы в Советском Союзе все было так, как они говорят, не поднялись бы с такой силой его народы, не били бы так немцев, как они бьют, не вышвырнули их так, как они вышвырнули, и не гнали бы врагов до самой берлоги. Советские войска знают, за что бьются; войска рабочих и крестьян — непобедимые войска, ведь они защищают свое счастье!

Однажды в воскресенье встретились на краю села помещик Кристя и Гицэ Лунгу. Первый сидел на беговых дрожках, но немедленно остановил свою гнедую лошадь с разметавшейся гривой и длинным хвостом. В лучах утреннего солнца поле словно дымилось и искрилось до самого горизонта. В зарослях акации на развилке проселочных

дорог перекликались вяхири.

— Я тебя, Лунгу, с самой пасхи не видал, — укоризненно сказал помещик. — Нам с тобой поговорить надо.

— Я все собирался зайти, — ответил мельник, — да я ведь один, а дел навалилось выше головы. Вот еле-еле в церковь собрался.

— А у меня и на это времени нет, — криво усмехнулся Кристя. — Поклоны бью Воловьему колодцу. После дождя на прошлой неделе хлеба заметно выправились.

Мельник перекрестился:

— Может, и на нас обратит наконец господь свою милость.

По воскресеньям до обеда у Гицэ Лунгу бывали приступы благочестия. Это началось недавно, с той поры как стал советоваться он с попом Нае о делах мирских и житейских.

— Одолели было нас эти крысы пакостные, — продолжал он, — да избавил нас господь. Наслал на них мор в конце зимы, так что тысячами дохли. А те, что остались, ушли в долину через Лису. Говорят, когда-то тоже так было. Унесет их Дунай и утопит. Я, барин, сам собирался зайти в Хаджиу, доложить вам про кой-какие дела, которые мне не нравятся. После той напасти разразилась над

Малу Сурпат другая.

— Политика… знаю, — подтвердил Кристя. — Мне говорили в примэрии. Цыгане, так те, когда голодны, поют. А эти собираются вместе и дела государственные решают.

— Они думают, им землю дадут. Об этом все трезвонят с тех пор, как у нас новое правительство. Заберут, дескать, ее у богатых и раздадут беднякам. Я, значит, трудился, мучился всю жизнь ради той малости, что есть у меня, и вдруг придут всякие босяки, лентяи и дураки и сожрут все, как на поминках. Есть у них подстрекатели. Я еще с прошлого года знаю одного такого, Стойку Чернеца, у него брат Войку, котельщик. Этот Войку — коммунист, он-то нашего Стойку и подучивает. На дому у Стойки собирается всякий сброд, и называется это партией. Если сказать вам, барин, кто только там собирается, так вы не поверите. Я бы сказал словцо, да сегодня воскресный день и в церковь иду я, не к месту оно.

— Любопытно бы знать, — заинтересовался господин Кристя.

— Так вот, ходят Григоре Мындря, Ана, прозванная Зевзякой{12}, — поумнела, вишь, теперь, —

{12} Комментарии: 12
Зевзяка — дура *(рум.).*

Лае Бедняк.

— Этот Лае был у меня в работниках, при волах состоял. Бросил работу и ушел. Я его под суд отдам. Жандармов на него напущу. Еще кто?

— Есть еще такой Аурикэ Бешеный, он с войны вернулся на деревяшке. И другой инвалид, без руки, Тудор Гырля!

— Недостает еще слепого, — засмеялся помещик.

— И такой есть. Иримия Васкан, кривой на правый глаз; в пехоте сержантом был. Пришел он как-то муку молоть. А муки-то с полмешка, не больше. Так и сверкает на меня здоровым глазом. Думал я его улестить: «Иримия, говорю, обойдусь я, пожалуй, без гарнцевого сбора». — «Нет, бери, это право мельника!» — говорит. «Хорошо, Иримия», — говорю. Право слово, барин, будто ожег он меня своим глазом. Не хотел бы я с ним встретиться ночью, когда один домой возвращаюсь. Есть еще у них такой Ницэ Немой. И другие еще. Собираются, замышляют что-то.

— И этого Ницэ Немого под суд отдам, — нахмурился Кристя. — И его упеку.

Гицэ Лунгу поскреб затылок.

— Как бы это вам, барин, сказать? По мне, так оставить бы их всех с миром. Дураки дураками и

останутся. Нашло теперь дурное поветрие, только как нашло, так и пройдет. Тогда их и согнете в бараний рог. Есть и у меня кое с кем счеты, да молчу. Вот жандарм Данциш слишком смирен. Видно, боится. По воскресеньям то из города нашего, то из самого Бухареста приезжают наблюдатели.

— А это что такое?

— Рабочие приезжают, ихняя партия посылает рабочих плуги и другие орудия чинить, а больше разные разности рассказывать. Вот наши и вбили себе в башку, что перейдет к ним земля от тех, кто ею раньше владел. По правде сказать, побаиваюсь я, барин. Не гоже, говорю, с ними силой-то. Ох-хо-хо! Раньше лучше было. От напастей да забот исхудал я совсем. Взвесился я на мельничных весах — девяти килограммов как не бывало.

— Всех из ружья перестреляю! — исступленно крикнул Трехносый. И уже спокойнее добавил: — Кое про кого мне говорил Попеску-староста. Но он не так уж боится, как, видимо, ты, Лунгу. Про новые наделы земли идет слух, но мы, говорит он, повременим, пока опять не наступят измененья, ведь старые партии еще крепко держатся. И это правда, так и знай.

— Староста, барин, тоже вертится по ветру. Попеску нечего терять. Да вот еще, знаете, какое

дело: бабы заволновались. Выйдут на берег Лисы белить холсты — и ну судачить о политике да ругаться. С ними хуже всего: они быстрее с ума сходят. Сколько я перестрадал из-за свояченицы своей Настасии. С этой тоже, я вам скажу, морока. Пообещал ей два погона из ее, как говорится, наследства. Пока еще она не замужем, но выйдет, коли только вернется полоумный братец мой Митря.

— А он еще не вернулся?

— Нет. Все на войне. А Настасия эта, даром что не венчана, скоро родит, ославила нас на все село. Решил отдать ей землю, чтобы отвязалась. А теперь жалко. Расселась она на земле, что подарил я. Чернец ей помог и вспахать и посеять. И избенку ей починил Чернец. Живет с ней Аниняска, приглядывает, ведь у Настасии брюхо кверху поперло. Работает как сумасшедшая и уродкой такой стала, что и не узнать. Все Митрю своего ждет. Смех один. Я, когда иду в поле, далеко ее обхожу. И вот эта Настасия тоже на партию надеется. Даже жизнь мне опостылела.

— Погоди умирать, Лунгу, — мрачно ответил помещик Кристя. — Поживем — увидим.

— Еще и другое есть, барин.

— Не хочу больше ничего слушать, Гицэ. На-

доело. Приходи ко мне, поговорим, я скажу тебе, что надо делать. Прежде всего думаю я подать в суд на этого Чернеца за нарушение закона, чтобы приструнить его.

— Не приструните, барин, крепко он держится.

— Не верю. Ведь я тебе говорил, есть и другие партии, с которыми до сих пор мы ладили. Мы их снова на ноги поставим. Я был заодно с либералами, а они сейчас тоже в правительстве. Что они там делают? Не лясы ведь точат. Есть у них свои интересы. А ты держись национал-царанистов; и у этой партии есть свои люди у власти.

— Правда, барин, нельзя сидеть сложа руки, съедят нас голодранцы. Я приду к вам, как вы приказываете. Прямо и не знаю, что мне делать с моим братом. И про него идут разные слухи. Да простит господь меня, грешного, но уже лучше бы, кажется, другие вести о нем получить, спокойнее бы мне стало.

— А ты боишься его? Предоставь его мне!

— Да как вам, барин, сказать? Ну, значит, я приду к вам.

Они расстались. Барин поехал на своих дрожках к Дрофам, а мельник зашагал к селу, но оба еще долго что-то бормотали себе под нос.

В том месте, где дорога слегка поднимается по

берегу Лисы, Гицэ Лунгу остановился и оглядел село, теснящееся вокруг церкви. За рекой, по холмам, что в западной стороне, тянулись поля мужиков.

Вот, говорят, нужно построить мост, как у людей. А то кое-как сбиты гнилушки — того и гляди, опять отрежет от города в большой разлив. Да еще, не дай бог, утонет кто-нибудь, как уже случалось.

На селе все толкуют о каменном да о бетонном мосте. Но примэрия бедна — на что строить-то? Обещания префектов перед выборами так и оставались обещаниями, легковесными, как пух одуванчиков. А на себя расходы принять люди не хотят. Пусть, мол, богатые раскошеливаются! Богатые-то согласны внести свою долю, но сначала надо посмотреть, что другие соберут.

«Что соберешь с этих голодранцев? — засмеялся про себя Гицэ Лунгу. — Знать, останемся при этих гнилушках, пока кто-нибудь не погибнет... Ишь ты, — вспомнил он, как поп говорил ему о пожертвовании и о поминках по родителям, — на седьмом году велел устроить поминки, на девятом — снова, теперь говорит, что и на двенадцатом полагается. Поп Нае себя не забывает, у него все в книгу записано. И пришло же мне

в голову в том самом году, когда я на покойников расходуюсь, еще отдать два погона земли этой бесстыжей девчонке, которая опозорила нас. Да ведь и здесь тоже политика: надо было людям глотку заткнуть. Эхма! Черт подери! Где тут заткнешь, когда эта Уца Аниняска выставила девчонку всем напоказ».

«Видишь, что ты наделал, Гицэ?» — звенели у него в ушах упреки жены.

Мельник стукнул палкой о землю. Вот ведь Станка какая! Заставила-таки его выругаться, когда он отправился за святой просфорой в церковь. Чтоб подохнуть ей, сороке!

Много было дел и хлопот у мельника, а теперь вот еще приходится ему ломать себе голову, как бы разделаться хотя бы осенью со всеми неприятностями, связанными с землей.

Мрачный шел он в церковь, еле передвигал ноги, шаркая ботинками. Он был в новой одежде из белого плотного сукна. Женщины, переходившие по мосту через Лису и направлявшиеся к своей «часовенке», заметили его еще издалека и мысленно, как врагу, пожелали ему всякой хвори.

Их «часовенка» находилась в том месте, где начиналась полоска Настасии, около ключа, который бил из-под северного склона холма, в

тени старых ясеней. На этих холмах, источенных теперь дождевыми потоками, повсюду рос в давние времена лес. От всего этого зеленого острова уединения остались только ясени — кусочек леса на суглинистой земле, называвшийся Фрэсинет{13}, который, впрочем, люди тоже не оставили в покое. Под старыми деревьями, куда никто не мог проникнуть, кое-где рос колючий кустарник. Родители Настасии поставили на поляне около своей полоски летнюю хижину. Каждую весну ее нужно было чинить, потому что осенью и зимой никто в ней не жил и только редкие путники навещали ее. В начале весны Стойка Чернец, помогая женщинам, потрудился вместе с ними, пол устлал новой листвой и покрыл камышом это ненадежное убежище.

К Аниняске и Настасии прилепились Ана Зевзяка и Вета, сестра Кицы. Они вышли замуж за двух братьев. Ана — за Тудосе Лайу, того, что разорвали волки, прозванного «Зевзяку» и оставившего вдове в наследство одно только прозвище, а Вета — за Раду Лайу, который не вернулся с войны в 1917 году, так и пропав без вести. У них тоже было по клочку земли рядом с Настасией, по-

{13} Комментарии: 13
Фрэсинет — ясеневый лес *(рум.).*

лученному ими за мужей на детишек. Теперь дети стали уже взрослыми мужчинами и тоже ушли на войну, может быть, для того, чтобы тоже оставить после себя только имя да память, что и они когда-то жили и страдали в Малу Сурпат. Ана и Вета, по просьбе Уцы, приютились тоже в хижине, чтобы находиться поблизости, если понадобится какая-либо помощь. Ведь такова жизнь: одни умирают, другие рождаются, и вот эта девочка, Настасия, ждет своего часа. Когда пололи кукурузу и грядки с овощами возле рощи, крестница и крестная жили по большей части в хижине. В плохую погоду или на праздник они приходили в село. До Малу Сурпат было не больше двух километров. Можно было сбегать домой и в течение дня. Но им больше нравилось быть среди зелени и в тишине. Недаром это место и называли они «часовенкой».

В ручье отражались высокие вершины ясеней. Среди кустарника щебетали всякие птички. Тут были и иволги и дрозды. Одно время жила кукушка со своим дружком, потом они улетели, пристроив свои яйца по чужим гнездам. Вета и Ана рассказывали, что прошлой весной было два соловья. Теперь остался только один. Несмотря на усталость после работы, они слушали его

иногда по ночам, при лунном свете. Настасия устраивалась в тени, чтобы не видно было, как на глазах у нее блестят слезы. Но все равно вздохи ее были слышны.

Совсем захирела крестница Настасия, только глаза остались красивыми.

Ослабла от работы, от тревог, от тоски.

Когда в обед все усаживались под ясенями и разводили под котелком огонь, старухи бойко толковали о всякой всячине. Настасия сидела молча. Она перечитывала про себя, как молитвы, все письма, полученные от Митри. Их было одиннадцать. Она ждала двенадцатого.

> «Дорогая Настасия, будь умницей, жди меня терпеливо. Я купил тебе здесь, в Трансильвании, сапожки, кожушок и расшитую юбку, чтобы ты надела на свадьбу».

Все же срок подошел неожиданно, в среду, в первую неделю июня. Новый кандидат в граждане был настолько нетерпелив, что свалил мать на земляной пол и пронзил ей тело страшными болями. Не было уж ни времени, ни возможности отправить бедную девочку в село. Крестная Уца послала Ану домой, чтобы она единым духом сле-

тала за Софией Стойкой, сведущей в таких делах.

— Принеси и кирпич, — прибавила заботливая Аниняска. — Боялась я, что внезапно это наступит, и все припасла в хижине, только кирпич вот забыла. Большой кирпич принеси.

Через некоторое время у Настасий отлегло, и она даже засмеялась, для какой такой постройки понадобился кирпич. Пока она говорила, снова начались схватки. Оставили и снова схватили, как клещами, и так было, пока не приехала в телеге бабка София вместе с Чернецом, погонявшим что есть мочи.

Кирпича не нашли. Где тут найдешь кпрпич в такой спешке?

Аниняска запричитала, схватившись за голову. Насколько помнят бабки, таков был обычай в Малу Сурпат — женщине, страдающей от предродовых схваток, подкладывать под поясницу кирпич. А для чего, никто над этим не задумывался. Может быть, для того, чтобы опираться роженице в момент разрешения от бремени.

— Тут в хижине есть старое муравьиное гнездо, оно как каменное, — посоветовала Бета, — положим на него бедную Настасию.

Настасия стонала жалобно и протяжно, как под ножом. Вокруг нее хлопотали четыре женщины.

Кто с подсолнечным маслом, кто с ножницами и шелковинкой, кто с ковшом воды. Одна держала больную под мышки и успокаивала ее.

Нужно бы и Митре быть при этом — таков был другой обычай: виновник всех этих страданий должен быть в такую минуту рядом, чтобы страдающая женщина могла бить его кулаками, царапать, таскать за волосы.

— Тот, из-за кого муки все, сам теперь далеко, — пробормотала Ана Зевзяка. — А был бы он здесь, легче бы разрешилась бедняжка.

Стойка привязал лошадей под ясенями и хмуро ждал у огня. Ему не разрешалось принять участие в этом таинстве. Погода была тихая, словно нарочно ради такой святой минуты. В гнездах ворковали горлицы и насмешливо пересвистывались иволги.

— Эти загодя вещают, как ребеночка-то назовем, — сказала Бета, самая старшая из всех присутствующих.

— Как будто человек кончается, — прошептал, прислушиваясь, Стойка Чернец. — Ведь говорил мне брат мой, мастер Войку, чтобы вызвать доктора, приготовить все как теперь полагается для облегчения страданий. Смеются старухи, — дескать, они лучше знают. Только

Адам и прародительница Ева, мол, не рождены были в муках. Сказки!

К вечеру крики в хижине утихли. Во Фрэсинете наступила тишина. Послышалось, как где-то долбит дятел. К населению в Малу Сурпат прибавился мальчик. У него были черные глаза, похожие на отцовские. Он толкнул мать ножками и заорал на бабку, когда она перерезала пуповину.

Глава двадцатая
Письма и вести от милого

Жил в Малу Сурпат старый музыкант, которого звали Веселин Скрипкарул, по прозвищу «Удача».

— А была ли она у тебя, удача? — спросил его как-то на сходке Стойка Чернец — они были приятели.

— Не бывало, — ответил музыкант, горько усмехнувшись.

Его удачу черт на хвосте унес.

— Так уж мне написано, — добавил он, — не на роду, а у Кристи в Хаджиу, в долговых книгах. Когда-то дал он мне сто двадцать лей. Шли годы, рос и долг. Кое-когда пригласит меня играть на скрипке госпожа Дидина, а долг он все не сбавляет. Работаешь на него летом, играешь осенью — и никак не расплатишься.

— Отберет он у тебя скрипку, Веселин.

— Этого никак нельзя: без скрипки я пропаду. Скрипка мне дороже пары волов.

— Эх, брат Веселин, ведь дело не в скрипке, не в деревянной этой коробке, а в том даре, который

душа твоя хранит.

В то лето после дождей хлеба пошли хорошо. Кристя известил через примэрию, чтобы должники шли вязать снопы и молотить. Люди собирались туго, поглядывали исподлобья. Староста был в нерешительности. Жандарма Данциша слишком часто вызывали в управление. В решающий день вязки снопов, через неделю после праздника святых апостолов Петра и Павла, помещик приказал «этому — Удаче» прийти и играть крестьянам на скрипке, чтобы те глядели повеселей.

Скрипач мог и петь хорошо. Сначала он спел старую песенку, которая когда-то пользовалась большим успехом и нравилась Трехносому:

Когда выходят девушки
Холсты белить на реченьку,
В траве их ножки белые
Плывут, словно лебедушки.

Но не стало веселей ни мужчинам, ни тем более женщинам.

Э-хе-хе! Были когда-то белыми, как лебеди, ноги у красавиц из Малу Сурпат, когда баре сеяли меньше пшеницы и не сгоняли женщин на работу. Жены хлопотали возле домов по хозяйству,

вся тяжелая работа ложилась на мужчин: барщина, вывозка леса, починка дорог, извоз и другие повинности…

Хозяйки зимой ткали холсты, а летом белили их.

А посмотри-ка теперь на них! Спалены они июльским зноем, постарели до времени их лица; руки и ноги — не белее валежника, заскорузли и потрескались; черными стали лебеди, почернела грудь, почернели губы. Было отчего загрустить женщинам от песни Веселина. Мужчины же ругали мироеда за то, что отобрал он у них одну из немногих радостей жизни.

— Эй, дедушка Веселин, помолчи лучше! — закричали вскоре некоторые из работников. — А то от грусти-тоски подохнуть можно.

Трехносый заметил, что Веселин положил скрипку на сноп.

— Не сиди, цыган, сложа руки, а то в морду получишь. Здесь ты не у себя в хате, а на барской работе. Я плачу тебе; пошевеливай-ка смычком да языком!

Музыкант робко проблеял несколько танго, завезенных из города. Но когда Кристя повернулся и пошел в именье, Веселин повалился на землю и затряс головой, скрежеща зубами.

Про это дело рассказывал как-то Стойка Чернец в доме у Уцы Аниняски. Он привел с собой жену; они были кумовьями Настасии и любовались крепким малышом, который одолевал свою хрупкую мать.

— Мало ему молока, вот он и толкается ногами, — жаловалась Настасия. — Будь умником, Тасе, спи!

Тасе не хотел спать, он таращил глазенки, словно хотел запечатлеть всех: и крестных, и Уцу, и бабушку Вету, и Ану, вдову Зевзяку. Но как только Чернец снова повел свой рассказ размеренным голосом, ребенок тут же заснул.

— Как закончили вязку снопов, отправился, значит, Веселин получать с помещика обещанную плату.

«Какую еще плату? — говорит Кристя. — Разве ты у меня не в долгу?»

«Тогда, барин, сбавьте мой долг на четыреста лей».

«А ты мне, что ли, играл? Пусть тебе мужики заплатят. Я с них удержу, сколько на каждого приходится, и отдам тебе. Приходи в следующее воскресенье».

Приходит музыкант в следующее воскресенье.

«Эх, напрасно ты пришел, Веселин, не рассчи-

тался я еще с людьми, черт их возьми».

«Я бы и сам, барин, с ними столковаться мог, мы же свои. Нет, лучше вы мне долг сбавьте, ведь вы, а не они играть приказывали».

«Погоди, я посмотрю, подумаю, — отвечает Кристя. — Постой тут немножко, пока я кое-что обговорю с Гицэ Лунгу».

Веселин стоит, дожидается. Слух у него как у музыканта тонкий, вот он и услышал, что Трехносый договорился с либералами из Бухареста поставить Гицэ Лунгу помощником старосты в Малу Сурпат. Его бы и старостой поставили, да он неграмотный. Так вот, старостой останется Попеску, а Гицэ Лунгу как помощник будет исполнять все приказания помещика. Трехносый видит, что народ начал роптать и огрызаться, он и выталкивает вперед Гицэ: пусть с ним ругаются, бранятся, пусть его хватают за грудки.

Тут Кристя поворачивается к музыканту.

«Эй, цыган, ты еще не ушел? Чего ты ждешь? Я сказал помощнику старосты Гицэ, чтобы с тех, кто вязал снопы и кому ты играл, собрал он, сколько они тебе должны».

«А долг-то спишете?»

«А это другой вопрос!»

Через неделю стало известно, что и мужикам

записали в долговую книгу плату за музыку, и у Веселина вырос долг, потому что в те дни он, мол, играл, а не работал.

— Чтоб его Илья-пророк громом поразил, чтоб его холера взяла! — посылала проклятия Вета. — Все так и есть. Ведь и мы работали в Дрофах, и нам записали долг за музыку, и мне, и Ане, будто нам до смерти эта музыка нужна была! И так в чем душа держалась от жарищи да пылищи. Записал нам в счет по четыре леи. Коли на то пошло — Веселин играл, Веселину и деньги отдадим. Так нет, Трехносый их себе удержал, подавиться бы ему ими! Я не удивлюсь, если теперь еще и Гицэ Лунгу потребует себе по четыре леи, а не будет денег — по корзине кукурузы.

Аниняска всплеснула руками:

— Да мыслимое ли это дело?

— От такого, как он, всего можно ждать. С богатых требовать он не осмеливается, а дерет с бедняков и вдов. Такие-то, как Лун-гу да Трехносый, еще почище разбойников с большой дороги будут.

— Я схожу к Гицэ, — возмутившись, сказал Стойка Чернец, — и скажу ему твердо, чтобы не шел против народа, а то худо ему будет. Стакнулся с мироедом, задерживает раздел земли, объяв-

ленной по закону, все созывает да распускает комиссии. Кое-кому в Малу Сурпат замазал глаза десятком погонов. Нищие, кричит, подождут. Раздулся от важности и от злости — вот-вот лопнет!

Бета сделала большие глаза.

— Говорила мне сестра моя Кица, — таинственно зашептала она, — что с четверга на пятницу снился ей сон, а в этом сне будто несем мы под дождем Гицэ Лунгу на кладбище и причитаем мы с нею по покойнику и смеемся.

Крестная София торопливо трижды перекрестила ребенка.

Ана спросила:

— А Кица не говорила, меня там не было?

— Была и ты, тоже причитала.

Ана Зевзяка развеселилась. На дворе залаяла цепная собака, потом успокоилась. Послышались шаги и голоса. Настасия встала, осторожно держа в руках ребенка, и ушла в соседнюю комнату. Этим вечером обещался прийти к Уце ее брат, Маноле Рошиору, с двумя недавно демобилизованными солдатами. Эти двое только сегодня приехали и привезли весточку от Кокора: письмо за пятью печатями. Они везли его вдвоем: если с одним что случится, другой взял бы его и передал в руки либо Настасии, либо Аниняске. Такие

письма приходили и раньше, их тоже привозили демобилизованные. Настасия жаловалась — мол, только «мой» не приезжает. Теперь она стояла у приоткрытой двери, держа Тасе на руках, и сердце ее колотилось. Руки у нее были заняты, и она не могла вытереть хлынувшие слезы.

В большой комнате, где сидели собравшиеся, послышались шаги и громкие голоса. Но вдруг голоса утихли. Вместе с братом Уцы вошли Григоре Алиор и Симион Пескару.

— Принесли письмо? — спросила крестная Уца, указывая глазами на дверь в соседнюю комнату.

— Принес, — ответил Алиор.

— Добрые вести?

— Добрые.

После этого обмена словами Настасия ничего больше не могла расслышать и нетерпеливо топталась на месте, ожидая драгоценного подарка.

— Митря в госпитале, — шептал между тем Алиор Аниняске. — Он и этой весною тоже там побывал, только не уведомлял вас, чтобы не пугать. Его ранило в левое бедро осколками от снаряда. Пятнадцать дней пролежал, пока доктора не выходили. Они приказывали еще лежать, да он не захотел и попросился немедленно на фронт. Не терпелось ему, уж больно он горяч…

А недавно у него опять начались боли на месте операции, внутри нагноение сделалось. Врачи снова взяли его в госпиталь и объявили, что не выпустят, пока совсем не вылечат. Нашли у него еще два осколка вроде иголок. Мы его видели перед отъездом. Теперь все хорошо. Как встанет, так одним духом домой примчится. Он обо всем говорит в этом письме, что мы привезли.

— Я очень рада, — ответила крестная Уца громким голосом, так, чтобы слышно было в соседней комнате. — Прошу, подождите минутку, пока я принесу цуйку, хлеба и сала.

Аниняска, словно ветром ее подхватило, бросилась к крестнице, держа в руке письмо за пятью печатями.

— Добрые вести, ласточка.

Она снова вернулась в комнату.

Настасия с опаской сорвала печати. Прочтя первые строки, она побледнела, на глаза ее опять набежали слезы, но потом она мало-помалу пришла в себя.

Страх прошел, и сердце успокоилось. Митря заверял ее, что в скором времени приедет. Как-нибудь вечером или утром он неожиданно появится на пороге. А пока хочет знать, как поживает ребенок. Она закрыла глаза и как живого увидела

прямо перед собой Митрю; она кладет ему в руки ребенка. Это был ее самый драгоценный дар.

Некоторое время она стояла задумавшись, вся просветленная от этого видения, потом поспешно вытерла слезы и присела к столику, чтобы ответить ему.

В те времена в Малу Сурпат немногие из молодежи, кто знал грамоте, привыкли употреблять в любовных или дружеских письмах особые выражения в стихах. Все их знали, помнили наизусть:

> «Пишу дрожащею рукою тебе с любовью и тоскою…»

или

> «Пишу с любовью, с нетерпеньем, тебе, мой друг, на утешенье…»
>
> «Тоска застлала мне глаза, на строчки капает слеза».

Эти и им подобные стихи вытеснили старые известные клише, преданные забвенью:

> «Во первых строках сего письмеца желаю…»

Так писал когда-то и Митря в своем послании. Но с тех пор прошло много времени, и все на этом свете переменилось.

Все же оставались еще такие — и Настасия в том числе, — кто заимствовал для своих писем стихи из книг или, чаще всего, из неписаной поэзии.

Поэтому возлюбленная Митри, находившегося где-то далеко, готовя послание, полное любви и укоров, не ломала себе долго голову. Ее нисколько не интересовало то, о чем говорилось в соседней комнате: ни недовольство бедняков, ни злодеяния Трехносого, ни хитрости Гицэ Лунгу, ни накипавшее возмущение. Она писала, мгновенно погрузившись в вечность, в которой было всего два существа: она и Митря.

> «Митря, милый мой, в разлуке не пиши ты мне о скуке, все через чужие руки. Совсем ты лучше не пиши, а сам скорее поспеши. Я очень горевала, Митря, узнав, как ты мучился в госпитале, а теперь рада получить от тебя весточку о том, что скоро вернешься домой. Тасе — молодец и растет прямо на глазах. В тоске неугомонной смотрю на дуб зеленый…»

Обо многом еще написала Настасия своему

мужу, воображая, что он сидит рядом, а она нашептывает ему.

Глава двадцать первая
Товарищ Митря наводит порядок в Дрофах

В ближайшие недели по селу Малу Сурпат распространился слух, что Митря Кокор где-то объявился, но что ему приходится худо. Кое-кто пытался скрыть это, — а кто именно, это уж известно. Да что скрывать, когда все уже знают? От Кокора пришло, мол, письмо: он в госпитале, болен, его оперировали, один бог знает, вернется ли... У него, мол, врачи нашли гангрену, то есть мясо у него загнило. Гангрена ноги. Об этом некоторые слышали от самого Гицэ Лунгу, он рассказывал в примэрии.

— Что я могу сделать! — говорил Гицэ. — Может случиться, от него только имя одно останется. Что и говорить, болит у меня сердце из-за всего этого. Не слушался меня, вот теперь и расплачивается.

Аврам Сырбу спросил, пишет ли Митря брату.

— Ничего не пишет, — огорченно ответил помощник старосты. — Вот и вся его благодарность за то, что я его добру учил, — даже не ответил мне ничего. Вот лишь записочку кто-то привез этой

злосчастной моей золовке. Уж лучше бы ей помереть, чем Митре. По крайней мере, не рожала бы обреченного на бедность ребенка, не выставляла бы на посмешище и меня и свою сестру. Так-то теперь ее господь бог наказывает.

Что тут скажешь? Мы все-таки от одной матери. Сколько ни причинял он мне зла, а съездил бы я повидаться с ним хоть разок, да не могу. Далеко он, где-то в госпитале, в Турде, а на меня в селе навалилось столько дел, что и на час отлучиться невозможно. На меня начальство всю ответственность возложило, без меня ничто не делается. Да и то сказать — может, пока я доеду, бедного парня и в живых не будет. От этой болезни, что гангреной зовется, никто еще не спасался. Молись за него хоть сам епископ крайовский — и то не поможет!

С тех пор как боярин Кристя побывал в Бухаресте и сговорился с высокопоставленными воронами из либеральной партии поставить во главе села своего человека, Гицэ вырос на целый вершок. Когда же пришла бумага о его назначении, он еще поднялся на целую четверть. Был бы он грамотен, мог бы и старостой стать. Но помещик ему сказал, что это дела не меняет. Его милость приказал Попеску не вмешиваться

в дела и слушаться Гицэ как доверенного лица. Не надо торопиться со списками безземельных и местными комиссиями. Пришло время власть укрепить. С некоторых пор всякие бродяги нос задирают, совсем обнаглели, так и хочется стукнуть их чем-нибудь по башке. Пришли указания и унтер-офицеру Данцишу связаться с помещиком и с его новым помощником, чтобы укрепить жандармерию, быть в курсе всех дел, пресекать слухи. Кто думает, мол, что порядки могут измениться, тот ошибается. Правда, из государственных соображений король допустил в правительство людей, только что выпущенных из тюрьмы, — тех, что называются «прогрессивными». Они и пытаются всякие пакости делать, ведь они большевики и, дай им только волю, все разрушат. Однако, слава богу, страна еще не у них в руках. Те, кто до сих пор управлял ею, уймут их, тогда-то будут разогнаны все подстрекатели, одних за границу прогонят, других снова упрячут туда, откуда их выпустили. Пусть утихомирятся и те, кто здесь бушует. Пусть образумятся и займутся своим делом. Пусть выходят на работу, как этого требует обычай и закон. А то худо им будет, ой, как худо!

Гицэ Лунгу, когда его назначили, даже речь

произнес. В ней он старался показаться и решительным и сильным. Только мало кто его слушал. Да и те, выслушав его, лишь тряхнули шапками и разошлись.

И вот однажды, в начале осени, в примэрию явился Стойка Чернец в сопровождении демобилизованных.

— Гицэ Лунгу, — смело заговорил Стойка, — нам известно, что старосте и помощнику старосты надлежит быть из наших людей, из тех, кто знает наши нужды. А здесь, в Малу Сурпат, что это за староста и помощник старосты, когда они наши враги? Нужд наших вы не знаете и сторону помещика держите. К разделу земли даже не приступили, так что только диву даешься. Так вот, перед выборами будешь ты у нас голоса просить, а придется свой локоток укусить.

Гицэ Лунгу покраснел от гнева. Хмурый и злой, вскочил он с места, но потом раздумал и снова уселся, вытянув ноги и откинувшись на спинку стула.

— Во-первых, что это за «ты, Гицэ Лунгу», — забубнил он раздраженно. — Я — староста. Оказывайте мне должное уважение.

Стойка Чернец засмеялся. Бесцеремонно засмеялись и его спутники: Аврам Сырбу, Григоре

Алиор и Симион Пескару.

— Снять передо мной шапки! — крикнул, привстав со стула, Гицэ. — Вы подозрительные личности!

Стойка и другие пропустили это приказание мимо ушей и шапок не сняли. Только взглянули на него искоса, краешком глаза.

Гицэ заорал:

— Я вас под суд отдам за оскорбление властей!

Алиор смело ответил ему:

— Ты на нас не ори. Коли ты не наш, так и не признаем мы тебя. Мы — члены партии.

— Это еще что?

— А вот увидишь!

Гице уставился на них злыми глазами. Мелкие служащие примэрии стояли возле дверей и слушали.

Представитель власти втянул в себя воздух и завизжал:

— Вот я покажу вам, подстрекатели! Так вас прижму, что масло потечет! Пошли вон!

Сам он словно прирос к стулу, но, к его изумлению, они не уходили.

— В конце концов, какие у вас претензии, мужичье?

Голос у него охрип.

Чернец сделал шаг к столу:

— Прежде всего, Гицэ Лунгу, расскажи нам, откуда пошли все твои лживые россказни про Митрю? Будто он болен, будто уже не вернется? Вот здесь стоит перед тобой Пескару, который сам видел его и разговаривал с ним. Митря поздоровее тебя будет и скоро приедет требовать у тебя во всем отчета.

Гицэ примолк и сразу похолодел, словно его окатило ледяною волной. Он закрыл глаза, потом приоткрыл их и улыбнулся, как будто с ним шутили:

— Ну и черти же вы… Что вы это выдумали? Понятия ни о чем не имею. Да пусть Митря приезжает в добром здравии, как вы говорите. Если он здоров, то почему же до сих пор не приехал? Мы с ним меж собой сочтемся как братья. А вы-то чего нос суете в чужой горшок?

— Ты в ответе не только перед братом, — настаивал Чернец. — Придется рассчитываться не только с ним, а со всеми нами.

— Ну-ну, идите себе, — запыхтел на него Гицэ, отстраняя его рукой. — Нет у меня времени лясы точить. За этот ваш разговор вы еще перед судом предстанете. Некогда мне болтать, некогда шутки шутить. От ваших глупостей у меня голова кругом

пошла. Вам это понятно? Что же вы еще хотите?

— Мы хотим знать, — решительно сказал Чернец, — почему ты в субботу поехал на большой казенной телеге во Фрэсинет и увез оттуда часть кукурузы, собранной женщинами?

— Как? Что? Я сказал вам, оставьте меня в покое! Ничего я не знаю.

— Нет, знаешь. Там, во Фрэсинете, Настасия сложила на своей земле кукурузу. Ей помогала Аниняска. Там же сложили початки и две бедные женщины — Ана и Вета. А служители примэрии по твоему приказу нагрузили и увезли часть кукурузы. Что, признаешь ты это или нет?

Помощник старосты беспокойно заерзал на стуле:

— Да видите ли…

— Брал ты кукурузу или нет? — угрожающе наседал Чернец.

— Видишь ли, я сначала не понял, о чем речь. Да, я взял долю Станки. Ведь я отделил для Настасии часть жениной земли — вот и взял немножко из урожая в уплату за аренду.

— Половина — это, по-твоему, немножко?

— Я не стал подсчитывать.

— Забрал, даже не предупредив. И это расчет? А у Аны с Бетой зачем забрал? По какому праву?

Тебе же говорили Дэмиан и Сава, служители примэрии, что там сложена и кукуруза этих старух несчастных.

— А у них я взял за игру Веселина Скрипача.

— Платить музыканту должен помещик, да он к тому же удержал с крестьян за музыку.

Из собравшейся толпы послышались женские проклятия:

— Отходную бы ему сыграть!

Помощник старосты вздрогнул. При этом женском выкрике он поднял опущенную голову, да так и выпучил глаза на окна с решетками. В комнате потемнело из-за людей, собравшихся у окон. А за спиною тех, кто стоял первым, теснились другие, голова к голове, до самой улицы. Снаружи доносился неясный рокот голосов, время от времени покрывая его, раздавались выкрики.

Напускная важность окончательно сбежала с Гицэ. Может, столько народу собралось, чтобы потребовать от него отчета за то, о чем говорил Стойка? Или пришли они по поводу наделения землей, которое все откладывалось? «Этот Кристя всегда сует меня в самое жерло пушки. Или узнали про какие-нибудь другие дела, про которые донесли им эти большевики?» Господин помощник старосты нагло полагал, что предста-

витель власти, каковым он считал себя, может позволить себе помыкать мужичьем по примеру боярина Кристи. Его милость — сама власть: все подчиняется ему! Общественные деньги — он сам решает, кому их давать, сколько давать, ради какой выгоды задержать их по взаимному согласию с писарем и кассиром. Иначе — что это за власть, коли не приносит выгоды? Пожалуй, вздумают еще спрашивать о стоимости школьной крыши, о ремонте больницы, о мостике через Лису! Все они скоты, ни в чем не разбираются, считают, что представитель власти — это просто пешка, защитник сирот, вдов, стариков, слуга для всех. Пускай оставят его в покое — у него столько своих дел: то мельница, где его обкрадывает механик, то партия откормленных свиней, которую надо отправить в Бухарест.

— Я пошел домой, у меня и своих забот не оберешься.

Все четверо пропустили эту жалобу мимо ушей.

— Что ж теперь будем делать? — спросил Стойка, кладя ему руку на плечо и усаживая обратно на стул. Я спрашиваю про кукурузу Настасии и этих женщин. А потом мы поговорим и о другом, что тебе еще меньше понравится.

— Посмотрим, я подумаю: если все так, как вы говорите, я отдам их долю.

— Когда?

— Сейчас же. Пустите меня. Я вижу, народ собрался. Этим чего надо? Что за дело у них ко мне? Пусть придут Аниняска и старухи. Мы с ними договоримся.

— Сейчас нельзя, — напирал Стойка. — Их нету в селе. Они ушли во Фрэсинет охранять остатки от других воров.

Гицэ почувствовал бесконечную усталость. По его пухлому лицу ручьями стекал пот. Уж не собираются ли бунтовать нищие?

Он чувствовал, что эти четверо допекут его, нарочно не отпустят. Он спросил в недоумении:

— Кто-нибудь с ревизией приехал?

— Пока еще не приехал, — ответил Стойка, — но приедет по поводу раздела земли…

Гицэ вздрогнул, он опустил голову и надул губы. И надо же было, чтобы унтер-офицер Данциш уехал из села! Как бы послать весточку помещику в Хаджиу?

На дворе стемнело, с Дуная надвигались тучи, задул порывистый ветер. Вошел Раду Гурэу, посыльный, чтобы зажечь лампу. Поправив фитиль, он искоса взглянул на Гицэ, понуро сидевшего

за столом.

— Я пойду домой! — решился сказать Гицэ.

Все четверо стали стеной, повернувшись к нему спинами.

После кратковременного дождя народ еще теснее набился на террасу, толпою стоял у окон: ветер утих.

В темноте на улице вдруг стало тихо, а затем послышался громкий веселый шум.

Вошел брат Аниняски, Маноле Рошиору, с кнутом в руке.

— Дождь не хлещет, так ветер засвищет, — сказал он, странно поглядывая на мельника. — Только-только привез. Входить не хочет. Есть распоряжение собраться всем селом и выйти ночью в Дрофы.

Гицэ удивленно слушал, нижняя губа у него отвисла.

Вдруг он понял. Приехал его брат, тот, от которого, он думал, осталось одно только имя. В сердце у него закололо, оно то сжималось, то расширялось. Он простонал:

— Что мне делать?

— Подымайся и пойдешь с нами в Дрофы, — ласково ответил ему Чернец.

— Я не могу.

— Сможешь.

Кто-то говорил с крестьянами на улице. Люди молча стояли в темноте. Мельник тоже прислушался, но голоса не узнал.

Это сам Митря так решил — внезапно вечером явиться в Малу Сурпат. Накануне он предупредил через капрала Сырбу Аврама. Пускай никто не знает, пускай не знает даже Настасия, — лучше, чтобы ее и в селе не было. В первую, в самую первую очередь ему нужно свершить суд и навести порядок в Дрофах, и только после этого он обнимет жену и ребенка. Он едет туда не ради того, чтобы мстить за свои несчастия, он едет не ради своей любви. Он едет ради общественных интересов, которых многие, может, и не понимают. Но уж так он решил. Так договаривался с товарищами, когда жил с ними на чужбине, что все заодно будут творить они правое дело, лишь только вернутся домой… По одному, по два собирались они, держали совет у Чернеца, хранили все в тайне, готовились и ожидали сигнала. В Бухаресте Митря задержался на день, чтобы поговорить с мастером Войку.

— Теперь мы пойдем наводить порядок, — закончил он свою речь. — До сих пор здесь был один обман.

Толпившийся на улице народ загомонил, а затем все рассыпались по домам запрягать лошадей в телеги.

В третьем часу ночи все были на дороге в Дрофы. Двигалось туда сорок телег, наполненных людьми из Малу Сурпат и с хуторов. На каждой телеге — фонарь. Товарищи по армии несли факелы. При их красном свете крестьяне могли видеть Кокора, широкоплечего, темноглазого. Время от времени и перед Гицэ возникало это угрожающее видение. Митря на него даже не взглянул, не сказал ни слова.

Гицэ напрягал слух в ожидании счастливого случая — приезда помещика Кристи с жандармами.

Так, значит, это они подстроили, чтобы Данциш именно сегодня уехал из села, но не может быть, чтобы их хитрость не открылась. Лишь только начнут эти ироды распоряжаться в Дрофах, тут, верно, и нагрянут власти. Что правда, то правда — в Малу Сурпат закон о наделении землей был выполнен только частично, и землю в Дрофах до сих пор оберегали, но за это в ответе прежде всего сам Кристя. Так пускай покажет, какова его сила. Пускай вызовет жандармов против этих бунтовщиков. Крестьян уже однажды проучили,

они крепко поплатились за заварушку девятьсот седьмого года. Бог даст, и сейчас все обернется добром. Гицэ был голоден, озяб, влажный степной ветер пронизывал его до костей.

Когда подводы прибыли в Дрофы, люди зажгли костры из старой соломы и колючек и сбились вокруг, оживленно переговариваясь. Гицэ услышал несколько ругательств и по своему адресу. А Трехносого — того совсем смешали с грязью. Выбрались из своей лачужки и старик Тригля с Кицей, чтобы обнять и расцеловать своего мальчика, который столько времени пропадал, а теперь снова вернулся домой. Собрались и работники из поместья Трехносого, которые начали вторую вспашку полей, готовя их к посеву.

Перед рассветом, когда огонь спрятался под золою, настала тишина, все задремали. Только Гицэ не мог сомкнуть свои воспаленные веки. Он все время спрашивал себя и не мог ответить, что же с ним станется. Ему было ужасно жалко себя.

Вскоре поднялись дикие гуси, с гоготом они летели в вышине по ветру, стая за стаей. Митря не спал, он неподвижно лежал на куче кукурузных початков среди своих товарищей и вспоминал под крики крылатых странников ту осень, когда он лежал под навесом, а за ним ухаживала и

ворожила над ним бабушка Кица.

Занялся день; восток светлел в венце из роз. Нежданные гости собрались и ожидали, когда будет наведен обещанный порядок. Бедняки и вдовы, родственники тех, кто погиб на войне, должны были стать теперь владельцами всего простора этих полей. Результаты дележа будут записаны в книге, каждому по его нуждам; затем им предстояло провести борозды, чтобы размежевать землю. Древнее запретное поле переходило, таким образом, в руки тех, кто его обрабатывал десятки лет и гнул спину на помещика. «Наши списки будут переданы туда, где пишут справедливые законы», — заверили бедняков товарищи Митри Кокора.

После ночных разговоров некоторые прониклись еще большей ненавистью к Гицэ Лунгу и подстрекали друг друга против него. Потом, когда началось чтение списка сирот, все забыли про Гицэ и стали выводить плуги в поле.

В этот момент послышались тарахтенье коляски и конский топот. Люди заволновались, поднимая головы. Митря вышел вперед. Он догадывался, кто это едет.

— Едет боярин Кристя, едет Трехносый, — наперебой сообщило несколько голосов. Кое-кто из

стариков заколебался, товарищи Митри вытолкнули их из задних рядов на видное место.

Кристя ехал в высоком шарабане, запряженном парой лошадей, по левую руку поместив Данциша, по правую старое ружье, которое он справедливо считал своим лучшим слугой. Он был в ярости и еще издали угрожающе показывал кулак. На облучке сидел Чорня, гнавший галопом белых, покрытых пеной коней. За желтым шарабаном поспешала деревенская телега с тремя жандармами. Они были вооружены, однако винтовки висели на ремнях через плечо.

Еще не остановились шарабан и телега, как львиный рев боярина Кристи разорвал тишину:

— Я вам покажу, подлецы, бандиты! За этим сквернавцем пошли, что у меня из милости хлеб ел? Вон отсюда! Чтобы через минуту я никого здесь не видел!

Кокор спокойно вышел навстречу шарабану.

— Назад, скотина! — завизжал, распаляясь, Кристя, сопровождая приказанье отборными ругательствами. — Как вы могли, дурни, пойти за таким, как он?

Митря сдержался. Он твердо сказал:

— Народ пришел взять в свои руки землю, которая принадлежит ему по закону.

— Это моя-то земля вам принадлежит?! — еще пуще заорал помещик на собравшихся. — Видишь? Слышишь? Ах, так их, рас-так! — добавил он в сторону Данциша.

Кокор заговорил еще решительнее:

— Партия установила справедливость. Земля принадлежит тем, кто работает.

— А я не работал?

— Нет.

Рыча, словно зверь, Кристя поднял ружье и щелкнул курками.

— Я тебе покажу закон! Я тебя в землю уложу!

В это мгновенье Чорня, словно чего-то испугавшись, натянул вожжи. Лошади поднялись на дыбы, забили копытами по воздуху и навалились на дышло. Шарабан дернулся и наклонился на сторону. Ружье выстрелило в облако, нависшее на востоке, как гневно нахмуренная бровь. Кристя чуть не вывалился из шарабана, но вскочил и опять поднял ружье.

— Что твои жандармы делают, идиот? — закричал он на Данциша.

Как бы разыгрывая заранее подготовленные роли, товарищи Митри выхватили из-под сермяг автоматы. Люди плотным кольцом окружили телегу с жандармами. Данциш, раскинув крыльями

руки, навалился на Трехносого и обезоружил его.

Наступила мгновенная тишина, сбившаяся толпа даже не перевела дыханья. Побледневший Кокор снова заговорил:

— Я пришел спрашивать расчета не за голод, не за побои, не за насмешки. Одного наказанья заслуживаешь ты, раз хвастаешься, что работал здесь. Становись с нами в ряд пахать землю.

Из толпы послышался удивленный визг:

— Да как ты смеешь, братец?

Митря обернулся и увидел надувшегося брата Гицэ — для полного сходства с ежом ему не хватало только иголок.

— Тебя — к волам, барина — к плугу! — отрезал Митря. — Ведите их.

Трехносый был вне себя от ярости. Гицэ вдруг затих, опустившись на колени.

Люди задвигались, беспричинно смеясь и все дальше оттесняя жандармов. Под присмотром Григоре Алиора тронулся первый плуг, прокладывая борозду надела. Медленно двинулся он навстречу заре, обогнул кустарник, остановился ненадолго и опять двинулся. Когда он спустился в ложбинку, люди потеряли его из виду, потом снова увидели, уже на обратном пути. Возвращение плуга прерывалось более долгими остановками.

Помещик Кристя падал, резким окриком подхлестывал его Алиор, и тогда он становился на колени, потом на четвереньки, затем, с огромным трудом, на ноги. Через десять шагов он падал снова. Гицэ еле подымал тяжелую, словно чужую голову. Он тоже падал на колени, извиваясь, как червь. Когда они добрались до землянки, людям пришлось их подхватить и поддержать, словно какие-то огородные пугала. Кровавый пот стекал с них. Ладони Трехносого были в сплошных ранах и волдырях.

— Оставьте меня, преступники. Я всех вас в тюрьму упеку! — рычал он в зверином отчаянье.

Тогда к господину Кристе подошла Ана Зевзяка и грозно сказала, стиснув от ненависти губы и качая головой:

— Ну, ну! Выблевывай теперь, волк, то, что сожрал!

Кучер Чорня сурово смотрел на позор своего хозяина; потом отвернул голову и сплюнул.

Злосчастный плуг двинулся еще раз. За ним тронулись и другие. Провел борозду и Митря; когда он возвращался, рубашка на его груди была распахнута, голова обнажена. Его ласкал прохладный осенний ветер.

Он остановился отдохнуть у Овечьего колодца,

и тут к нему, стрелой бросилась Настасия. Правой рукой прижимая к груди своей ребенка, левой она обхватила Кокора за шею и в бурных словах и ласках, рыдая и смеясь, выказала перед всем миром любовь к Митре.

У ее Митри лоб был в морщинах и виски поседели. Ее Митря сдерживался перед лицом всего села, и она тоже умерила свои страстные излияния. Она протянула ему ребенка и успокоилась.

Передача пустоши Дрофы крестьянам была только началом. Митря Кокор всем своим существом еще помнил то, что ощутил в колхозе «Память Ильича», в селе Тарасовке, когда был и учеником и военнопленным в Советском Союзе. Здесь, в Малу Сурпат, как и во всей стране, были еще живы старые порядки. Вид деревень и полей остался таким же, как сотни лет тому назад; люди привязаны к допотопному плугу и к полоскам земли, разделенной межами, к трудовым навыкам предков; люди замкнуты в своей бедности, отделены от своих собратьев, с которыми разделяют тяжелое ярмо рабства.

Достижения науки во всех областях жизни остаются еще чуждыми этим людям, живущим в прошлом. Новый мир пользуется тракторами, самолетами, электричеством; бесплодные земли

теперь родят, оплодотворенные орошением; меняется лицо земли благодаря искусству инженеров: колючки и сухие кустарники вытесняются полезными растениями; болота осушаются, а где были одни пески — появляются леса.

Люди же из Малу Сурпат вянут в тени былого.

У них должна произойти революция. Старые порядки должны быть полностью низвергнуты. Социалистическое государство не замедлит отдать в распоряжение бывших рабов все силы науки, чтобы там, где теперь дорожная грязь и лачуги, возникли шоссе и дома, освещенные электричеством; там, где нынче свирепствует засуха, потекла по каналам животворящая вода; там, где сегодня человек работает из последних сил, машины облегчили труд.

Распрощаться с прошлым, перейти в новый век, наступивший для человечества!

Все это мерцало перед Митрей, словно блуждающие огоньки, когда он держал на руках ребенка, переданного ему женой. Легкий степной ветерок защекотал в носу у малыша, заставил его чихнуть и открыть глаза. Теперь он улыбался октябрьскому солнцу.

— Будущее принадлежит тебе… — вздохнул Кокор и улыбнулся незабываемым картинам,

которые унес с собою из своих странствий по новой стране, стране социализма.

Настасия думала, что он улыбнулся ей, и сразу же почувствовала себя счастливой.

— За то, что я не сдержал гнева, — сказал Митря, — дам ответ только перед теми, кто вправе меня судить.

— За что же теперь примемся мы? — спросил, подходя к нему, Лае Бедняк.

Митря дружески похлопал его по плечу и ничего не ответил. Его землякам еще предстояло пройти тернистый путь познания.



М. Садовяну

«Митря Кокор»